

## ПРИБЛИЖЕНИЕ

### 1

По дороге Зимину вспомнилась мысль его героя о географии повторяющихся сновидений: когда попадаешь вновь и вновь как будто все в те же места — узнаваемые не столько по прошлой жизни, сколько по прошлым снам. Уже заранее знаешь, что тебе откроется вон за тем поворотом, и ожидание подтверждается, ты сам для себя возобновляешь подробности — припоминаешь на самом деле или сочиняешь тут же, как неосознанно сочиняются повороты снов.

Наяву бывает похожее чувство; чем дольше живешь, тем чаще оно возникает, — думал Зимин, глядя в затуманенное окно автобуса. Он ехал в места, где никогда прежде не был, само название населенного пункта зашифровано было для него номером почтового ящика. Ехал на похороны — странно сказать! — читателя, к тому же однофамильца, с которым не был знаком, о его существовании узнал лишь из пришедшего однажды письма. Объяснить что-то в этой истории было не проще, нежели свести когда-то концы с концами в книге, которую он, словно сам себе показывая язык, назвал «Приближение».

Мало сказать, что отклик на эту книгу от неизвестного читателя был для Зимина неожиданным. Он успел привыкнуть к мысли, что «Приближение» вообще осталось неизданным, экземпляр, отданный издателю, считал пропавшим, скорей всего, безвозвратно, (как пропал куда-то сам издатель), и до поры до времени мог не отдавать себе самому отчета, что к естественной горечи утраты примешивалось облегчение — проще было корить себя за допущенную однажды слабость или промашку, чем удостоверить почти очевидное поражение.

Ему уже смутно помнилось, с какой честолюбивой надеждой была много лет назад начата эта работа. От первоначального замысла — «Времена жизни», так он назывался когда-то — не осталось даже заглавия. Возвращаясь после перерыва к исписанным страницам, Зимин порой не мог понять, что еще недавно ему здесь виделось: не удавалось вполне совместить написанное, сам смысл прежних, так непросто найденных и как будто важных, необходимых слов с новым своим состоянием, поворотом мозгов. А ведь мерещилось, помнится, что-то, вроде даже многообещающее... ну, так ведь можно говорить и о самой жизни. Чем дальше продвигаешься от находки к находке, от понимания к пониманию, обогащая его по пути неизбежным опытом, тем с большим недоумением начинаешь озираться вокруг. Надо было заново приводить в порядок мысли и чувства вместе с бедолагой-героем, пережившим распад семьи, привычных отношений, череду житейских невзгод и разочарований, нешуточную болезнь. Не дав этому человеку своей профессии, Зимин позаботился сде-

лать его даже внешне на себя не похожим: обвисающие круглые щечки, губошлепистый рот, близорукие очки. Разлаживалось что-то в его ощущении жизни, распадалось, смещалось в сознании — вот в чем приходилось разбираться автору.

Как-то он стал перечитывать выпавшую из папки страничку: круглолицый очкастый юноша навещает в больнице отца. Они много лет не виделись, как бы даже без уверенности узнают друг друга. Не оказывается ни слов для прощального, может быть, разговора, ни подходящих чувств. Этот ли иссохший, уменьшенный, подключенный к капельнице человек поднимал тебя когда-то на могучих руках?.. — чью это мысль, чью растерянность я здесь хотел передать? — напрягал брови Зимин. Подобие испуга, постыдность нетерпеливого ожидания: скорей бы... попытка отделаться от тоски, это он по себе помнил. Но герой ли сидит у постели отца, он сам ли под капельницей? И то и другое с ним было, не в том вопрос — но полгода или полжизни назад? А потом кто-то — он или его сын — выходит из больницы к автобусной остановке, в другой воздух, на ослепительный свет. Двое длинноволосых присасываются губами друг к другу, воркуют на непонятном, хотя и не чужом языке. Вот что странным образом не удается ухватить, — вынужден был признать Зимин: ощущение действительной причастности к жизни. Приходилось то и дело с усилием перестраивать что-то в мозгу, приспособливаться, подсоединяться словно к чему-то не своему. По-настоящему достоверной она становилась лишь иногда, во сне, но Зимин вслед за своим героем ухитрился в конце концов довести себя до бессонницы. Если б не надежда хоть как-то все-таки заглушить, заговорить чувство, которое нельзя было назвать даже тоской, правильней было отказаться от попыток связать это нагромождение эпизодов завершающим, объединяющим смыслом — оборвать можно было на любом.

Ну, скажем, на том, где промокший, дрожащий от холода губошлеп пробует обогреть хоть пальцы, устроив подобие ночного костерка из старых газет. От пальцев идет светящийся трепетный пар, полоска желто-оранжевого огня продвигается внутрь неровной, иссиня-черной каймы, высвечивая буквы тут же истлевающих заголовков, и красноносенький бедолага не успевает ухватить, разобрать, о каком это они обвале или облаве, какие ценности и кем были потеряны или найдены, кого обозначают таким крупным шрифтом набранные имена. «Психодром на мировом уровне», — читает он. «Поиск нового измерения». «Источники внутренние и внешние». Тепла от исчезающих слов не хватает, чтобы хоть унять дрожь. «Клочки жизни», — с усмешкой примерил Зимин обобщающее название. Тоже, считай, результат. Но тут же подумал, что такой результат незачем предъявлять другим в виде исписанных листов — проще и правильней продемонстрировать его действием над теми же листами. Один клочок его герой, обжегшись, успевает в последний момент выручить из огня, что-то ему вдруг почудилось, захотелось вникнуть. Это оказалось объявление: дипломированный специалист, толкователь и целитель душевных несоответствий, зазывал страждущих на «сеансы органической коррективки». Не более не менее.

Возможность какого разрешения померещилась Зимину или его губошлепу при мысли об этом заведомом шарлатане? Живописная, с сединой, борода и растрепанная шевелюра придавали ему вид скорей артистический; глубоко посаженные, в

темных обводах, глаза (при небольшой бородавке слева, на нижнем веке) позволяли предположить способность к известному роду внушения. Забавно было описывать и живую сколопендру, подвешенную на нитке вместо нашейного украшения, и прочий эффектный антураж. Зимин ловил себя на готовности чуть ли не ерничать, когда словоохотливый герой пробовал объяснить, что его в самом деле томило. Невзгоды остались, можно было считать, позади, здоровье уравновесилось, жить худо-бедно было на что. Грусть и тяготы одиночества? Обычное дело, тем более в таком возрасте. Непотребства в стране, в мире? Да не так уж они тебя впрямую касались, и когда с этим было в порядке? «Соответствия не получается, — подсказывает туманное объяснение специалист-толкователь. — А вы к народной химии не прибегали? Насчет этого?» — щелкает он себя по горлу (свернувшаяся было для отдыха под бородой, в яремной ямке сколопендра забеспокоилась). — «Как же! — радуется подсказке бедняга. — Но не знаю даже, как объяснить. Может, подействовала контузия? Меня как-то на улице по голове стукнули. Пьешь, пьешь — вначале без результата. А потом отключаешься враз, начисто. Придешь в себя — головная боль, ничего больше. Какой, спрашивается, смысл?». — «Со смыслом у вас, значит, озабоченность?» — приподнимает мохнатую бровь толкователь... и вот тут, пожалуй, у Зимина шевельнулась догадка, что этот шарлатан что-то готов нащупать. «А чувство долга или, там, обязанностей перед другими — как с этим? Должны вы кому-нибудь что-нибудь?» — вынужден он пояснить вопрос; до пациента доходит замедленно. — «А!.. Если по правде, один должок за мною остался. Мне как-то пришлось занять полтораста рублей, зубы надо было протезировать, дорогая вещь. По старым еще ценам. А человек, представляете, умер, я не сразу узнал. И деньги с тех пор стали другие... так как-то получилось». — «Но зубы не беспокоят?» — «Нет, вот с этим порядок сверх ожиданий. Протез, оказалось, такая практичная штука, надо было раньше сделать. Всякую прежнюю боль можно забыть». — «Протез — это да, — туманно подтверждает целитель. — А насчет давления избыточных соков — тоже удалось успокоиться? Облегчаться больше не надо? Я имею в виду потребность в противоположном поле?» — «Вы так говорите, будто это в туалет сходить, — смущается тот. — Если бы так просто! Пока — увы. Я, может, отношусь старомодно. В мире, говорят, привыкли в этом смысле обеспечивать, не как у нас. Один знакомый рассказывал, он был за границей: идешь по обычной улице, а в витринах, прямо вот за стеклом, стоят такие, говорит, штучки, со всем, что полагается, между ног, чтобы, когда нужно, получить это самое облегчение, даже удовольствие. И без вреда для здоровья, наоборот. Я, как дурак, спрашиваю: что ли, искусственные? Есть, говорит, и искусственные». — «Природное равновесие зависит от состояния энергетики, — изрекает глубокомысленно толкователь. — А чтоб вообще отключиться — такой мысли не возникало? С собой, то есть, покончить?» — «Мысль — это да, это случалось, — признает тот. — Но какая-то ерунда всякий раз встревала. Один раз, знаете, совсем было решился, все заготовил. Захотел только напоследок исполнить, как полагается, желание. Для завершенной полноты, как вам объяснить? Просто вдруг увидел шоколадные трюфеля. Я эти конфеты в детстве когда-то обожал, их давно не было. А подсунули мне совершенно испорченные, залежалые. До сих пор не могу отплеваться от этого гадостного вкуса.

Все оказалось как-то опошлено, понимаете?» — «Еще вам и понимание нужно, — усмехается шарлатан. — Пошлость вас, значит, смутила, не страх»...

Что могла означать эта усмешка? Ожидать вразумительных объяснений от подобного типа было, пожалуй, рано. Ему надо было для начала произвести впечатление ритуалом поэфффектнее — действия одних слов в таких случаях недостаточно, Зимин это чувствовал. На большом столе расстелена была клеенка, сплошь покрытая красочным сложным узором из разной величины фигур, знаков, надписей. По четырем углам, в подсвечниках, изображавших морских тварей с птичьими клювами, зажжены пахучие свечи; посредине выставлен блестящий сосуд, который вполне заслуживал название кастрюли. Из нее выбираются, переваливаясь через край, серые, необычайно крупные раки, шлепаются на стол, расползаются, сцепляются, встречаясь. Можно было ожидать, что бородач станет должным образом толковать их, конечно же, многозначительные передвижения, но он этим скорей пренебрег, даже не наклонился над столом с необходимым усердием.

«Смотрите, смотрите, — поощрял свысока взволнованного губошлепа — словно тот при своей близорукости мог что-то сам разобрать. — Здесь, если войти в картинку, обнаружишь уйму возможностей или, как некоторые выражаются, смыслов, прошлых и нынешних. Старинная вещь, мне по наследству досталась. В разные времена узор дополнялся по изобразительной и словесной части. Места почти не осталось, видите, каким мелким бисером кое-где вписано. Чего только тут некоторые не находили! Я сам рот раскрывал. Древние заповеди, выводы новейших теорий, лозунги, запреты. Не ешьте совы и тушканчика... где-то, вроде, вон там, в углу. Это ведь из Библии, теперь вряд ли кто помнит. А в других местах, если взгляните, про любовь к ближнему, дух и материю, борьбу видов и классов, соотношение ценностей, тезис и антитезис. На любой интерес: ориентиры, предпочтения, правила, что хорошо, что плохо. Мы ведь, в своем роде, как эти твари, копошимся среди разных слов. Не то что годами, изо дня в день — тысячелетиями. Хочешь, не хочешь, но без этого почему-то нельзя. А чем все разрешится, заранее при том знаем... Вы зрения особенно не напрягайте, тут и при ярком солнце, под увеличительным стеклом не все разберешь. Тем более когда языки непонятные. Обратите лучше внимание, этот хроменький недомерок по пути выпускает из себя слизь вроде бы с икринками. Да? Только что в этом месте виделась путаница, пятна с линиями. Взгляд не имел сосредоточенности. А вон ведь как внутри вздутостей обобщается, какие выявляются очертания, целые картинки»...

Что бы Зимин ни думал об этом типе, отказывать ему в несомненных способностях, право же, не следовало. Он все-таки сумел довести беднягу до необходимого состояния. Состояние это можно было, если угодно, объяснять предварительным воздействием темных, с бородавкой на нижнем веке, глаз, да и свечной дурманящий запах загустевал в комнатном воздухе. Но себя-то Зимин просто перегрузил, видно, таблетками от бессонницы — они не столько помогли, сколько сделали бессонницу какой-то недостоверной. Перепечатывая время спустя набело эти страницы, он местами не мог разобрать собственный почерк — можно было подумать, что прямо по ходу сеанса, в полусумраке, и записывал возникавшее перед взглядом. Не то чтобы недомерок, но поменьше других раков с поврежденной, видно, клешней или нарушен-

ным равновесием забирали от прочих все дальше в сторону. Красочные картинки подрагивали в выпуклых пузырьках живой слизи, шевелились в трепетных свечных отсветах. Описание их заняло у Зимина почти пять страниц, однако большую часть он потом вычеркнул, вынужденный признать в некоторых эпизодах из уже полузабытых «Времен жизни», давно обособившиеся от сюжетного русла. Можно было, впрочем, оставить зеленый луг детства, разноцветные запахи над цветами, отражение неба в глазах зверей, а заодно невнятные страхи, проступавшие из тех же переплетений, из сумеречных ветвей. В разных жизнях найдешь что-то общее. Но кому, кроме Зимина, могло показаться знакомым всплывшее по пути лицо женщины, насмешливое выражение ее накрашенного дочерна рта, когда она смотрела на него, медленно пересчитывая языком зубы? К герою это просто не могло иметь отношения — как и многое, впрочем, другое, возникавшее вообще неизвестно из каких очертаний, непонятное самому Зимину, вот с чем он просто не знал, как быть. Вроде того четырехногого тела, что совокуплялось само с собой в гадостном окружении, две ноги были неприятно мохнатые, а когда очертания, слипшиеся в выпуклой капле, разделились, мохнатых стало четыре: одно из тел оказалось животным...

«Что вас так передергивает? — замечал бородач. — Тут все перемешано, и пако-сти разные человеческие, как же без них? Не обязательно вникать, тем более без личной причастности. В жизни-то видеть всего не надо, правильной вообще не знать. Непотребства, каких не вообразишь, уродства, кровопускания... вон... мало ли!... Что нас не касается, в жизни надо от взгляда загораживать. Обособливать по возможности в специальных закрытых местах. Так оно и делается, правда ведь? У нас раньше об этом больше старались, сами знаете. Но не всегда удается. Не все вообще в человеческой власти. Вспучится вдруг перед тобой в любом месте, в любой момент... из собственного нутра, как некоторые выражаются, лезет. Твари дорогу не выбирают. Вон, гляньте опять»...

Кто-то с винтовкой наперевес бежал мимо разрушенного дома. Груда костей белела на его пути, на развевающемся знамени были буквы. «Видите, что написано?» — поощрял бородач. Разобрать не было, конечно, возможности, но ошалелый бедняга считал все же нужным откликнуться, словно это могло по каким-то правилам засчитаться ему на пользу. «Добро победит!» — наугад читал он. «Молодец!» — одобрял шарлатан, и это заверение должно было показаться как раз подозрительным, однако герой вдохновлялся дальше, словно ученик, демонстрирующий усердие. «Красота спасет мир», — читал он. — «Закаляясь в битвах и труде»... Что-то неприятное происходило между тем внутри слизистых выделений, очертания искажались, распадались, точно пораженные гнилью. Голова знаменосца обособлялась от тела, рот расплывался то ли в удивленной, то ли в блаженной улыбке, красная капля выдавливалась из шеи. Нарастало предчувствие близкого, тревожного понимания, страшно было его дожидаться, любым способом хотелось что-то предупредить, оборвать. Хорошо, что в последний момент хромоножка едва не свалился с края стола — губошлеп успел его подхватить...

Как это может каждому показаться знакомо! — сочувственно покачивал головой Зимин: когда, очнувшись с чувством ухваченной истины, обнаруживаешь себя с пойманным раком в руке, не более, под насмешливым, но удовлетворенным взгля-

дом специалиста. Оставалось описать завершающую часть ритуала. Клеенка со стола убрана, шнур кастрюли, оказавшейся электрической, воткнут в розетку, возвращенные в нее раки приобретают вид красных, а значит, пригодных к употреблению трупилов, и в меру охлажденное, хотя и горьковатое пиво выставлено для совместной трапезы.

«Я знаю, знаю, чего вы сейчас от меня ждете, — откровенничает бородач, со вкусом высасывая, выкусывая из скорлупок нежную сладкую мякоть. — Есть разные научные говоруны, они бы стали со значением объяснять, обо что потерлись по пути брюхом эти вот панцири, как этим картинкам соответствуют так называемые идеи, идеалы, идеологии... нет, только со скорлупками все же поаккуратней, выбрасывайте вот сюда, в баночку, они у меня идут на необходимую обработку... Понимание-то как раз ни при чем. Вкус испорченной конфеты, глядишь, опрокидывает все умственные построения, сами знаете. Или вот сегодняшнее впечатление. Не обязательно его в словах сопоставлять со своей жизнью. Некоторым зачем-то именно слова нужны. У меня был тоже интеллектуал, писатель. Я ему говорю: диагноз мне очевиден, прохудилась защитная оболочка, жизнь стала проникать ближе, чем надо. А он: что это значит? В смысл ему вникнуть нужно. Как будто еще не убедился, что чем глубже станет в него внедряться, тем больше нагромоздится вокруг бессмыслицы. Вот я ваше чтение охотно подтверждал. Лукавил, думали? Признавайтесь?... Нет, в том-то достоинство метода, что неправильного попадания тут не бывает. Любые слова можно употребить и отбросить. Великая цель... какие там были еще?» — «Неумолимый прогресс», — с неожиданной готовностью подсказывает губошлеп и отплевывает с губы очередную скорлупку. — «Туда же, туда же! — радуется целитель. — Все в дело пойдет! А что там у самого края было написано, где вы этого уродца поспешили схватить? Не успели прочесть? Ну как же! Бросайся в бездну, чтоб отросли крылья»...

И оба вдруг разом, словно восхитившись неизвестно чем, разразились хохотом — и чокнулись стаканами с горьковатым, но право же, приятным и даже хмельным напитком.

«У вас, я вам скажу, более счастливого устройство, покладистое, вы готовы усваивать без самолюбивых комплексов, — одобрительно подтверждает целитель. — Перестаете разбираться со смыслом — бессмысленность исчезает сама собой. Попробовали и выплюнули. Теперь только еще дозреть до кондиции. Ну, это дело времени. Я для закрепляющего воздействия дам вам свой фирменный концентрат, он делается как раз на основе этих скорлупок. Восстанавливает защитную оболочку, предотвращает утечку энергии, не допускает внутрь ненужного. Хотя много зависит от личных особенностей, должен честно предупредить. Возможны побочные действия. Прыщи у некоторых вылезают. Хранить желательно при комнатной температуре, в закрытом от света месте»...

Зимин дописывал эти строки, невольно кривясь в усмешке — словно в рту еще оставался привкус неясной оскомины. Покрыв готовую стопку титульным листом, он вывел на нем от руки заголовок. А рукопись в единственном пока экземпляре засунул в ящик, поглубже.

Ему, помнится, пришло в эту минуту на ум, что так клали когда-то дозревать в темноту зеленые помидоры, чтобы вынуть со временем красные. Если покраснеют, конечно, не подгниют. Мыслями насчет публикации Зимин, во всяком случае, мог себя не отягощать — на хлеб он зарабатывал не этим. Если называть заработком плату за аренду своей бывшей квартиры — по доверенности, которую ему оставила прежняя жена, обосновавшаяся теперь за границей с сыном. В тот день он, сверх ожиданий, впервые за долгое время заснул — как провалился. Никакие сны ему не мешали, проснулся он с чувством отделившегося от трудов человека, а про оскомину мог даже не вспоминать.

Но она словно вдруг явственно ожила, вызвав на лице нечаянную гримасу, когда его посреди улицы окликнул однажды человек, которого Зимин не сразу смог вспомнить.

— Ну как же! — расплывался тот в мелкозубой улыбке. — Шаров, забыли такого? Я возле вас одно время крутился. Тоже был среди литераторов. Вас тогда не печатали, я сам не читал, но имя, конечно, звучало, как же!..

Поддался ли Зимин на нехитрую лесть, позволив круглоголовому Шарову буквально затащить себя в попутное уличное кафе, донимала ли его самого жажда? А может, он понадеялся заглушить кислотность во рту, возобновив другой, еще памятный вкус? Пиво в этом убогом заведении приходилось тянуть из банки, даже бумажных стаканчиков тут предложить не могли.

— А мне один говорил, вы теперь не здесь, где-то у них... там, — неопределенно мотнул головой Шаров и присосался к банке, поглядывая на Зимина из-под белесых бровей. — И вроде у вас что-то с ногами. Я говорю: так я его лично знал, тоже был когда-то писатель. А вы — вот он. Перепутал, значит. Но в печати я ваше имя ведь не встречал, да? Я понемногу слежу, по деловым теперь интересам...

И небрежно выкинул на мокрую столешницу визитную карточку, где на двух языках значился шефом издательства «Шар».

— Для таких, как вы, напечататься, как я понимаю, опять проблема? — что-то вроде плотоядной заинтересованности было в его взгляде. — Были причины идейные, теперь экономические, да? Знаем мы эти разговоры. Тогда было проще набивать себе цену: не дают нам сказать свое слово, рты затыкают. И вот, пожалуйста, ори во все горло. Перди, извергай, какое хочешь, дерьмо. Так ведь не всякое дерьмо, оказывается, нужно, вот оно как повернулось. Я в этом смысле сориентировался. Зачем из себя изображать? В мировое развитие вряд ли впишешься, лучше заработаешь на чужом. И несут, кто может. Не бог вещь что, это понятно. По-настоящему теперь ни у кого, считай, не получается. Так, синтетика. Чтобы хоть запах был, как у других. А скоро и это наше дерьмо переведут, как я понимаю, на электронную основу. Мне уже предлагали одну идею...

— Закон современной цивилизации, — счел нужным проявить понимание Зимин. (Надо было словами еще и заглушить какую-то собственную, неясную пока тревогу). — Производишь, что спрашивают, спрашивают, что производят. Попробуй остановить цикл, не подбавлять смазки в колеса. Цивилизация не допустит, такой пойдет скрип, грохот.

— Закон нарушать нельзя, это вы поняли. — Шаров удовлетворенно откинулся на спинку пластмассового белого стула и раскупорил очередную банку. — Колеса должны крутиться. А вы, значит, уже производить перестали? Отошли, так сказать, в сторонку?

— Если б я мог! — словно сам над собой усмехнулся Зимин — тут же осознавая, что цитирует вслух своего героя. Хорошо, что это прошло мимо Шарова. — Потребление укоротить проще, — поспешил он затемнить сказанное. — Сказать себе, что слишком много пива — вред для здоровья. Но попробуй укоротить еще работу в этом вот черепке!

— Это в смысле: обрезать бы яйца, тогда будет полное соответствие? Глядишь, к этому все и придем... А у вас, значит, еще стоит? — дошло до него все-таки. — Ну, я так и заподозрил! А делаете вид! Меня так просто не проведешь...

Тут только Зимин вспомнил, что слышал много лет назад про этого человека. Будто бы он крутился вокруг тогдашних диссидентов, у литераторов интересовался рукописями, не предназначенными для опасных глаз. Кому-то потом пришлось, говорят, пережить неприятности, для кого-то они обернулись при том непредвиденной славой. Достоверно Зимин ничего утверждать не мог. И теперь-то чего было опасаться?..

— А почему даже показать не предлагаете? Не хотите или опять боитесь? Что у вас может быть по нынешним временам такого уж непечатного? — въедливо допытывался Шаров — как будто от него пытались укрыться. — Порнография какая-нибудь особенная, политика? Да бросьте выпендриваться! Сейчас ничего такого быть не может...

— Слова, не более чем слова, — неуверенно попробовал оправдаться Зимин. — Я просто без этого не могу. Пока не переработаю внутри себя вкус этого так себе пива... этот наш разговор, эту муторную духоту, шум машин на загазованной пыльной улице... ничто, представьте, не получает полноценного существования. И сам я, и вы со мной... То есть, не обижайтесь, я как-то не так выразился. Но что-то не получается. Ежеминутно, ежесекундно чувствовать себя живым... не знаю, как выразиться... воссоздавать мир? самого себя?... Что-то неизбежно исчезает, проваливается безотчетно. И вот очнулся очередной раз, озираешься... живешь, не живешь... непонятно....

Было чувство, будто ты двигаешь шахматную фигуру, оказавшуюся на шашечной доске, где не так ходят, не так снимают, а может, подразумевают вообще поддавки. Когда сам для себя еще даже не решил, во что ты играешь — любой ход можно считать проигрышным. Шаров обставился уже целой баночной батареей, но гладкое, похоже, не нуждавшееся в бритве лицо его почему-то не выделяло пота, лишь становилось все более рыхлым, не то что белым — цвета пивной пены.

— Почему это для тебя не жизнь? — с непонятым раздражением перешел он на «ты». — Хочешь сказать, что про себя ты знаешь другое, нам не дотянуться? И объяснить не станешь? Ты не такой, как мы. Да перестань крутить. Что значит писать для себя? Любовью занимаемся тоже для себя, но не с собой же? Хочешь сказать, что литература — онанизм? Пожалуйста, можно и так. Но не надо изображать из себя больше, чем есть. Онанисты сейчас, как все, рады выставиться, напоказ, в этом по ны-

нешним временам кайф. Без откровенности не пройдешь. Было бы, что показать. А ты, что ли, укрыться хочешь? Голеньким показаться боишься? Незаконный приплод хочешь припрятать? А вдруг ты дитя придушишь? — Пивная пена белела у него теперь не только вокруг рта, она проступала из рыхлых пор, лопалась и шевелилась уже на бровях. — Да не жмись ты так, покажи. Я же тебе только добро хочу предложить...

Зимин потом сам бы не мог объяснить, почему он поддался. Городская ли духота подействовала, недоброкачественное ли пиво? Расслабленность была не физическая — отказала способность сопротивляться. Не хотелось ведь допускать Шарова в свою комнатуху, где он обитал после развода, со старой пишущей машинкой на старом столе, и не нужна была ему ничья помощь, чтобы подняться по лестнице на второй этаж. Этот круглоголовый выпил куда больше. Но тот не столько поддерживал, сколько вцепился ему в локоть, по пути толковал что-то про особые возможности, про гонорар, которого, впрочем, заранее не обещал... Все это проходило мимо. Нельзя было сказать, что Зимин поддался соблазну. Мог бы просто сказать непрошеному издателю, что у него это единственный экземпляр. Но чем бы это еще обернулось?.. мало ли, чего было от такого ждать...

Вытаскивая из ящика папку с рукописью, он еще надеялся продемонстрировать Шарову на примере любой страницы, насколько ему это будет неинтересно, незачем даже начинать чтение, одолевая все равно не захочется. Было явственно слышно, как потревоженная понапрасну рукопись, только что дремавшая так успокоенно, скулит все испуганней, предчувствуя назревавшее предательство. В последний момент она даже сумела выскользнуть из рук на пол — Шаров подхватил ее первый...

Пришлось оставаться с сознанием не совсем чистой совести, чуть ли не насилия, совершенного над существом, присутствие которого, допустим, тебя тяготило, заставляло о себе думать, не давало вполне освободиться, расслабиться. Но и стыдить себя, и тревожиться было пока преждевременно — только разве что морщиться, представляя, как круглоголовый касается наклюнявленным пальцем беззащитных страниц, и надеясь, что даже перелистывать их он до конца не станет.

Выждав приличный срок, Зимин собрался, наконец, вернуть рукопись. Голос девицы по телефону злобно ответил, что шаров тут больше нет, лопнули. Домашний телефон вовсе не откликался.

Стоило ли говорить, как чертыхался писатель после каждой очередной попытки найти необязательного пройдоху, как клял и корил себя, переживая потерю, ошибку, если не сказать хуже? Надежда как-то еще вернуть свой труд породила разнообразные фантазии; одной из них была мысль рано или поздно, восстановить написанное по памяти, причем в этой памяти — или воображении — книга (как и сама утрата) все больше набирала значительности. Но никакая оскомины во рту, между прочим, больше не портила аппетита.

Читательское письмо словно вдруг выбило Зимина из установившегося было равновесия. Тут лишь он ощутил, насколько не был готов к действительному существованию книги, насколько привычным, уютно греющим стало чувство окончательной, не от тебя зависящей жизненной неудачи. Как книга попала к этому однофамильцу? (Можно было подумать, что именно совпадение его привлекло; заподо-

зрил, что ли, родственника? Иначе он книгу бы не купил). Восторженность отклика и вовсе отдавала недоразумением.

Выражался этот человек в тонах приподнятых, местами с заушной какой-то витиеватостью. «Ваша книга не просто оказалась для меня адресным, именным посланием. Когда бьешься над безнадежными мыслями, отгороженный от других в экспериментальном своем ящике, соприкосновение с родственной мыслью производит воздействие мозговой вспышки». В таком вот духе. Пробившись не без усилия через восторженный, местами наукообразный сумбур («энергетическая подпитка» была упомянута здесь, «алгоритм жизнеспособного саморазвития» и даже «энергетика потрясений»), понемногу можно было добраться все же до сути. Человек, по некоторым намекам судя, довольно еще молодой, интеллектуал-графоман с уклоном, очевидно, техническим сочинял что-то свое; совпадение фамилий побудило его обратиться к профессионалу с надеждой до смешного небескорыстной — и ведь не просто на содействие или протекцию. Тем же витиеватым слогом Зимину-старшему предлагалось многообещающее соавторство, вот так-то. «Если бы вы взяли посмотреть мои материалы, разделенные частности могли бы объединиться даже сверх ожиданий каждого из нас, выстроилось бы правильное развитие, я убежден. При вашем-то мастерстве». Проблема авторства (при общей фамилии) его вроде бы не интересовала. Только вот присылать свои «материалы» он почему-то не рисковал — и здесь нечаянно проговорился: «До меня запоздало дошло осознание: когда содержимое мозгов, весь рабочий процесс открыт для других, можно без твоего ведома, без нужного понимания злоупотребить промежуточными результатами, вот ведь в чем ужас». Это, увы, напоминало уже вполне известный сдвиг. Становилась отчасти понятна и умышленная, скорей всего, зашифрованность языка: писавший словно боялся, как бы письмо не перехватили, не уличили в чем-то недозволенном, не потребовали объяснений. (Проскользнул даже намек, что посылалось письмо не по обычной почте). Запрещалось, что ли, отправлять «материалы» из этого ящика?..

Ну, тут начиналась уже область догадок, углубляться в которые Зимину было незачем. С преувеличенной почтительностью этот другой, Д. Зимин приглашал его приехать к себе, даже подробно расписывал дорогу от железнодорожной станции на автобусе, потом на катере с указанием точного рейса в 9.30 и обещанием «организовать встречу, как дадите знать». «Если, конечно, для вас не проблема ездить», — приписано было в скобках. Не особенно тактичный, прямо сказать, намек то ли на возраст, то ли на непосильность нынешних транспортных цен.

На конверте же в качестве обратного адреса указан был номерной шифр того самого, упомянутого в письме «ящика». Что он мог означать? Засекреченный объект? Что-то военное или, может, тюремное? (С медицинским уклоном, — невольно добавил про себя Зимин). При номере имелось название города, которое обозначало, однако, не более чем привязку к почтовому пункту. Так называлась и железнодорожная станция (Зимин не без труда нашел ее в подробном атласе), но от нее еще надо было добираться, и недалеко, к месту, имевшему, наверно, другое, свое название.

Заглядывал Зимин в атлас, разумеется, всерьез о поездке не помышляя. При всем желании увидеть все же свою книгу, удостовериться в ее существовании (ни в

одном магазине обнаружить ее не удалось), отпугивала мысль о необходимости знакомиться в нагрузку еще и с неизвестными «материалами». Можно было, написав в ответ слова стандартной вежливой благодарности, задать на эту тему попутный вопрос. Но что-то мешало Зимину даже взяться за такое письмо. Почему-то заранее неприятно казалось выводить на конверте собственную фамилию. Так отталкивает иногда вид почерка на собственных старых письмах — возвращаешь их, где лежали, подальше, не перечитывая; так чужеродна собственная остывшая слюна... Нет, было что-то еще и другое...

Отделаться сразу от мыслей о письме, вот с чем Зимин помедлил. Так и не решив, отвечать ли, он поневоле к нему возвращался — и вызывавшие усмешку мудреные выражения, на которых он и не думал задерживаться, теперь неожиданным образом зацепляли, словно поворачивались другой стороной. Взять хоть ту же «энергетическую подпитку» — ведь это были, как запоздало вспомнилось, слова из речей бородатого шарлатана; Д. Зимин сочувственно употреблял их, намекая на тему неизвестных своих занятий. Вообще он, похоже, считал автора солидарным именно с этим своим героем, сам находил у него родственное себе. «Это ведь и моя проблематика: возможность соединиться с жизнью, не прорывая сберегающей оболочки, которую после пережитого едва удалось нарастить», — так он выражал свое понимание.

Зимин давно уже убедился, что читатель по природе своей никогда не воспримет написанное, как это замыслил автор. Зато непременно обнаружит такое, чего тот вовсе не имел в виду, не заметил или недопонял. Да еще переиначит в меру собственного опыта, характера, представлений. Если угодно, обогатит, досочинит, не дописывая ни строчки. Возражать против этого Зимин не мог, сам был читателем. Может, и он в письме обнаруживал больше, чем там было на самом деле. Одно место в нем было, между прочим, о чем-то схожем: «Так обводишь контуры поневоле ограниченного пространства, чувствуя, что одновременно возникают очертания другого, незамкнутого, открытого мира».

Сомнительность восторгов, вот чем как-то болезненно задел был писатель, вот что требовало опровержения. От неприятия, непонимания, ругани проще было бы отмахнуться. Точно этот Д. Зимин произвольно распоряжался текстом, присвоенным вместе с именем. Не имея на руках экземпляр, трудно было подтвердить или опровергать его, как полагается, с убедительными цитатами. Дословно Зимин у себя многого не просто не помнил — написанное слишком успело преобразиться в его собственной памяти. Особенно же смущало чувство, что в письме упоминались эпизоды, которые первоначально во «Временах жизни» действительно были, но из окончательного текста убраны. Неужели какие-то отвергнутые страницы могли по недосмотру оказаться в папке? Он ведь даже не проверил, как следует, отдавая ее. Но каким образом они были вставлены в текст, куда?..

«Не знаю, что значит для вас «отгороженность от жизни» (тем более в неизвестном мне ящике), «соединение» и тому подобное, — не удержался он мысленно от стилистического передразнивания. — Автору можно приписывать свои мысли, но не мысли же персонажей. Мне многое приходилось оставлять за пределами повествования. Чувство отгороженности от мира, ограниченности своей жизни, желание

охватить все (если вы говорите об этом) — отчасти юношеское. Мой герой мог бы рассказать вам, как был разделен на «концы» город его детства. Забрести в чужой конец было опасно, могли сильно поколотить. Между ними велись настоящие войны, годами. То есть можно было много лет прожить в небольшом сравнительно городе, ни разу не побывав на другом конце. Но ведь и внутри маленького квартала, за соседними стенами, жизнь протекала как бы в разных, непересекающихся измерениях, со своими законами, правилами, понятиями. За одной, представьте, апартаменты подпольного богача с невообразимой, чудовищной роскошью, за другой — уголовный притон, пропахший перегаром и блевотиной, и тут же, чуть не вплотную — пугливая семья ссыльных интеллигентов, которой надо прятать от посторонних наследственные, запретные книги. А как им, в самом деле, было открыться? И так всем, всем. Но герою в юности хотелось проникнуть за любые стены. Ему мешали, ненавистны были всевозможные ограничения, которые закрывали другой мир, другую жизнь. Его унижали все эти закрытые зоны, границы, спецпропуска. Представлял ли он, как вместе с этими перегородками исчезнут однажды существенные ориентиры, каким он почувствует себя незащищенным? Как после стольких лет, стольких странствий он не сможет уверенно сказать, знает ли хоть ближние окрестности — таким все становится неузнаваемым? Вот что выясняется на самом деле: обогни хоть всю землю — добраться в конце концов можно не более, чем до себя. Если, конечно, не заплутаешь в пути. Если еще останется, к кому возвращаться, вот в чем настоящая-то тревога»...

С кем это, однако, я думаю объясняться, с какой стати? — одергивал себя тут же Зимин. Только что удалось поставить точку, а затем и совсем успокоиться. От Шарова следовало ожидать пакости, но не этого же. Надо что-то еще договаривать, объяснять, чуть ли не оправдываться. Хотя никому ты на самом деле не должен, никто от тебя объяснений не мог требовать.

Неотвязность все тех же мыслей порождена была, видимо, возобновившейся бессонницей — она опять иногда словно снилась. И точно озвучивалось письмо: ну что, так приедете? Или слабо? Да, небось, слабо. Как в детстве подначивали, чтобы ты прыгал в яму (и яма в непроглядной темноте бессонницы существовала невидимо, но реально, вот тут, прямо перед тобой), и ты ради самоутверждения уже готов был прыгнуть — непонятно куда, непонятно зачем. То-то и оно, что ты уже не ребенок.

Как бы изнутри этого состояния, из смещенной бессонницы и пришла вдруг телеграмма, сообщавшая о похоронах Зимина. Без извещения о самой смерти и ее причинах, даже без формального приглашения приехать — лишь с указанием даты. И подписано было официально: «Отдел обслуживания». Не требовалось чересчур напрягаться, чтобы расположить в уме наличие при бредовом ящике и такой службы. Не обнаружили по документам других родственников и решили известить на всякий случай однофамильца. Сэкономив, как водится, на словах. Это все можно было совместить. Если что выпирало, не укладываясь, так это единственное, отдельно добавленное слово: «Пожалуйста». Точно прицепили без связи неуместный, из другого набора, бантик.

Продолжалась все та же мусть. Да что же это было такое? Нельзя было так распускать воображение, связывать неизвестную, не имеющую к тебе отношения смерть с чем-то, что ты сделал или не сделал, написал — или именно не написал. Будто человек действительно не дождался от тебя насущного ответа, какой-то поддержки или хотя бы опровержения. Потому что и от собственных мыслей ты не смог убедительно отвязаться. Какой напряженной ноты, какого предупреждения не сумел уловить?..

Нет, все это было опять же черт знает что. Абсурдно, смешно было даже говорить себе, будто, не поехав и теперь неизвестно куда, ты что-то опять нарушишь, не выполнишь непонятный тебе, на самом деле не существующий долг. Ехать вынуждало разве что недостоверное существование книги. Не покончив с этой неясностью, нельзя было скинуть прицепившийся груз, избавиться не то что от душевной неразрешенности — от застрявшего неудобства. Вроде как от песчинки в туфле. Или скорей камешка. Даже если поедешь зря, — говорил он себе, — если ничего и никого не найдешь. (Если окажется неизвестно чей розыгрыш — мелькнула и такая мысль). Чего ты как будто боишься? Это и будет действительным облегчением. Ведь не боишься же на самом деле. Нет более простого способа освободиться.

## 2

Бессонная ночь в поезде еще больше усугубила его состояние. Купейного и даже плацкартного билета взять не удалось (помимо желания сэкономил, — привычно усмехнулся Зимин: над самим ли собой или над унижительной необходимостью в таком-то возрасте считать деньги), а заснуть в общем оказалось попросту невозможно. Он ворочался с боку на бок на душевной верхней полке, без постельного белья, укрыв разутые ноги лишь курткой, а под голову пристроив подошвами вверх кроссовки и наплечную сумку. (Из какого-то самоутверждения он собирался в дорогу, как прежде, по-молодежному, налегке). Внизу же громко гуляла компания подвыпивших парней, к которым не без навязчивости прибилась пожилой пузан в камуфляжной пятнистой форме. Натерпевшийся герой Зимина одно время по привычке считал эту форму признаком военной принадлежности, сочинял для себя несусветные объяснения, когда и страховой агент приходил к нему в камуфляже, и рыночный продавец оказывался в той же форме — словно разрасталась сама собой категория особых служителей, обладавших, может, даже оружием. Пока не увидел, что эту форму теперь можно купить в обычном магазине, и недорого. Ее стоило бы даже надеть, примеривал мысленно губошлеп, чтобы производить впечатление, ради какой-то, может, мимикрической самозащиты: мало ли за кого тебя в ней примут, и приставать на улице остерегутся. Въевшаяся в кровь законопослушность мешала ему присвоить не положенное. А вот этот, со взмокшим от пота зализом на лысине, по виду скорей магазинный работник, чем даже отставной военный... хотя кто их теперь различит?.. у этого хватило свободы, он сумел без заботы о формальных правах — в духе времени — обзавестись небесполезными пятнами.

На столике внизу были вскрыты консервные банки, выставлены бутылки. Разговор шумел беспорядочный, малопонятный, потренькивала гитара, улавливать связ-

ное содержание Зимин меньше всего хотел. Он пробовал как-то загородить уши от звуков, чтобы поскорей заснуть.

— У них теперь за выстрел двенадцать тысяч плотят, — уверял кто-то внизу.

— Это смотря какой выстрел, — опровергал другой. — Есть и за пятьдесят.

— У кого деньги есть, пусть выкладывают...

Охотники, что ли? — думал писатель, поворачиваясь на другой бок и закрывая рукой свободное ухо. Или сейчас вроде еще не сезон? Ружей у них что-то не видно. Может, рыбаки? Что это теперь за цены?..

Отгородиться от галдежа все же не удавалось, то одно ухо, то другое оказывалось открытым. Кто-то начинал рассказывать, как стреляли из рогатки воробьев, потом из них суп варили — вкусно. Все хохотали непонятно над чем. Лысый раз-другой пытался вставить что-то про американские консервы (нет, не магазинный работник, — внес для себя поправку Зимин, уже выделявший его голос, — те до общего вагона не опустили бы). Наконец, тот сумел все-таки протиснуться в разговор:

— Да, воробьи у нас тоже были. А голубей я потом лет пять не видел. Кошки, собаки — те еще оставались. Хотя тоже не как сейчас...

Это он про послевоенное время, что ли? — начал прислушиваться Зимин. — То есть, про наше послевоенное?.. — Он, помнится, сам однажды, уже задним числом, отметил, что с детства долго не видел в городе голубей. Это потом их объявили символом мира, и сизари стали обычной птицей. Лишь тогда ему пришло на ум, что в войну их, наверно, поели. Даже обычный цветок городских пустырей, цикорий, он впервые увидел уже школьником — тоже, видимо, извели в свое время...

— Собаки вообще-то вкусные, — подтвердил другой, молодой голос. — Мы раз-другой пробовали. Но как увидели, что они едят трупы, есть перестали...

Да кто же это говорит?.. о чем он?.. Зимин все-таки повернулся посмотреть — и поймал на себе нечаянный встречный взгляд. Сидевший с краю вихрастый рыжий, совсем мальчишка на вид, показался ему непонятно знакомым...

— Не, а мы в деревне корову одну взяли, — вступил мордастый в косынке, повязанной по-пиратски, — у нее, бля, вот такой осколок между рогов торчал. Воткнулся — и ничего, так прямо и гуляла...

Откуда я этого рыженького знаю? — все пытался вспомнить Зимин. Как будто уже видел где-то именно эти вихры. Золотистый отблеск на щеках, словно щетина проступала расплавленными точками, укороченные, приподнятые брови... Был вроде такой рыжий соседский мальчуган, еще в том, прежнем доме...

— В деревне и корову ничего не стоило взять, и бабу, — сказал кто-то, невидимый под полкой...

Не стоило, наверно, смотреть на рыжего так долго, тот снова встретился с Зиминным взглядом и задержался, словно тоже захотел убедиться в чем-то. Зимин поспешил прикрыть веки...

— Особенно когда целым взводом, — добавил другой. Все снова дружно загоготали...

Господи, они ведь на самом деле о войне, — с чувством странной пустоты внутри вдруг понял Зимин. — Они, эти вот молодые, а не взмокший камуфляжный толстяк. Он сам-то явно ни в какой не участвовал, ни в той, большой, ни в какой-то из

нынешних, но все пытался так ли, иначе подключиться к недоступным ему разговорам (сколько где стоила канистра бензина, обсуждали они попутно). Пятнистой формы было все-таки недостаточно, чтобы стать среди них совсем своим...

— ...Они с подарками все вернулись, — рассказывал голос под полкой, перемежая каждое слово необходимыми междометиями. — Кто швейную машинку жене приволок, кофточки, тряпочки, то, се, один дочке маленькой трехколесный велосипедик притырил, всю дорогу на себе, представляешь, тащил. Даже соседей не позабыли, всем что-нибудь хорошее сделали. С войны, как же. Ну, отметили возвращение, погудели дома, как по-ихнему полагается, с бабами перепихнулись. Но ужиться у себя не смогли. Над деревней, повыше, в лесу устроили лагерь, как обычно, и стали на них с гор спускаться...

— На своих, что ли? — не понял кто-то.

— Да они там все были свои. Язык один, только называются по-разному. И крестятся в разные стороны.

— Алфавит у них тоже разный, — уточнил знающий. — Язык один, а алфавит разный...

Это я бы и о себе мог сказать, — смутно думал Зимин. Язык действительно один, слова не нуждаются в переводе, даже знаешь, о чем они, но все еще не можешь подключиться к действительному пониманию. Как будто успел незаметно для себя вздремнуть и до сих пор не вполне очнулся. Не вполне вынырнул неизвестно откуда на поверхность без смыслов, в этот загустевший накуранный воздух. Вот пятнистому даже осваиваться в нем было не надо, он только все никак не мог перехватить разговор, все пытался вставить какой-то особый рассказ про личного знакомого, небывалого летчика, дважды Героя Советского Союза, который первую свою звезду получил еще в Испании, потом, в большую войну, немцы сбили его, он под чужим именем подышал в концлагере, совсем доходил от голода. Но кто-то там, представляешь, узнал его по фотографии...

— Тогда ведь как было, слышь? Ты послушай! У немцев был такой список или, по-настоящему, альбом лучших летчиков мира, с фотографиями. И он там был на двенадцатом месте. Ну, конечно, предложили снова сесть за штурвал и бомбить, так перетак, Англию. Все-таки не своих...

Можно было, не глядя, представить, как он дергает, привлекая, слушателя за рукав. Слушал ли кто его? Гоготали все о своем, но он пробивался наперекор шуму — надо было все-таки досказать:

— Над Англией его, слышь, опять сбили и тоже узнали. Слышь? Он там тоже был в их альбоме, только на восемнадцатом месте. Предложили бомбить японцев...

— И там опять сбили? — спросил молодой узнаваемый голос. Этот, значит, все-таки слушал?.. Зимин осторожно приоткрыл левый глаз, чтобы удостовериться. Рыжий смотрел снизу прямо на него, точно дожидался. И даже подмигнул, как своему, приглашая присоединиться к намечавшейся, видно, забаве. Он уже наклонно держал водочную бутылку над лысиной толстяка, словно собираясь окропить голову новопосвященного. Тот ничего, однако, не замечал, он радовался вниманию. Поблескивал во рту золотой зуб, обе руки были заняты бумажными стаканчиками, подсунутыми с разных сторон.

— А как же! Он еще и американцев бомбил. Ну, а потом, конечно, в наш лагерь попал. Но его оттуда тоже освободили. Даже одну звезду вернули. За Испанию. Герой — он должен быть герой. Вот как было когда-то, — добавил с непонятной гордостью. И вдруг, оглянувшись на рыжего, сам плеснул себе на лысину из стаканчика. Довольно ослабившийся рот обнаружил теперь обилие золота...

Вот так-то, — неопределенно подумал Зимин. — А ты бы так не сумел. Ты все надеешься удержаться в другой, несуществующей жизни, все не хочешь или не можешь оторваться от воображаемых опор...

Правильней было вообще отвернуться, только не сразу... сперва просто на спину. Чтобы не выглядело демонстративно. В поспешности, с какой Зимин в первый раз зажмурился, было, наверно, что-то постыдное. Но не нравился ему этот взгляд. За кого его принимал этот рыжий? Как будто считал, что он с камуфляжником заодно. Из одной компании, одного возраста. Отвечай за него. Жмурься теперь, не жмурься...

— Мы всю жизнь в битвах участвовали, — проповедовал теперь тот, дошедший уже до желанного благодущия. — Раньше ведь за все была битва, не как теперь. Вы, небось, не застали. За урожай была битва, да? Против империализма, национализма. Много чего было. Космополитизм был. Коммунизм. Враги народа, это само собой. Сейчас жизнь не такая понятная. Но ничего. Мы еще повоюем, правильно? Война есть война...

Шум становился все более пьяным, неуправляемым, он плавал по вагону, мешаясь с перестуком колес. Начинаясь то и дело пение под гитару приспособлялось к тому же ритму, преодолевая нестройность, слова были не более чем производными шума. Сквозь закрытые веки можно было почувствовать, что освещение в вагоне погасло, оставлен был лишь слабый ночник. Компания, однако, утихомирившись не собиралась, и можно было не сомневаться, что никто из пассажиров не рискнет призывать их к порядку. Пахло потными мужскими носками, почему-то баклажанной икрой и все более явственно — перегаром. Как-то слишком явственно. Будто кто уже дышал тебе прямо в рот. И даже проводил рукой перед закрытыми глазами (дуновение прохлады, паутинка у кожи). Так в детстве испытывали, не прикасаясь: выдашь ли ты, что на самом деле не спишь...

Зимин решил все-таки приоткрыть глаза. Темное расплывчатое пятно загораживало свет слабой лампы.

— А? — удовлетворенно сказал приглушенный голос, обдавая перегарным желудочным жаром. — Не будем больше притворяться? Узнал, что ли?

— Сам не пойму, — так же негромко, не выявляя усмешки, ответил Зимин. Глаза он снова прикрыл, отчасти демонстрируя невозмутимость — придавая разговору как бы домашний характер. Правильней было также игнорировать тыканье — не тот случай. Тем более, сам он по старой памяти — если человек действительно был знаком — лишь с усилием мог бы говорить этому давнему мальчику «вы». — Значит, все-таки узнал. А притворяться мне незачем. Просто в воспоминаниях не бывает полной уверенности. Тем более когда проходит так много времени. Детские лица совсем ведь меняются. Но твое, значит, на удивление сохранилось. Такая шевелюра приметная. Ты, помнится, собак очень любил, приبلудных подкармливал, да? А мама не

разрешала взять. Я как-то помогал тебе перебинтовать одной раненую лапу, у нее текла из глаза слеза. Помнишь такое? А?..

Зимин подождал отклика, подтверждающего или опровергающего. На всякий случай он все же не уточнял имени, да и адреса, а попасть можно было и наугад. Внимательное молчание его поощрило.

— У тебя было такое милое лицо. Как будто всегда был удивлен чем-то. Лицо можно узнать, но куда девается удивление? Вот что я особенно старался когда-то понять, — неожиданно вдохновился он, чувствуя, что, именно растягивая разговор, отводит все дальше и дальше опасность недоразумения, до сих пор все еще неясной угрозы. — Главным образом в самом себе. О других говорить проще всего, но я ведь себе кем-то казался. Не буду объяснять, кем. Неловко даже некоторые слова говорить. Достаточно, что казался. И сейчас, может, кажусь. Куда девается в нас способность к чему-то, что от рождения представлялось естественным... поэтому и не признавали? Понимаешь? — продолжал он, не открывая глаз; это помешало бы ему говорить, сбило бы мысль. — Что с нами делает время? Или не просто время? Превращаемся ли мы в кого-то другого? Но что тогда остается от нас? На чем же тогда держаться? Страх... да, он был всегда. Но он скорей разъедает, чем держит. Вот стыд... да, стыд, мне казалось, действительно последнее, что дает себя сохранить. А смотришь на этого пузана... Только, пожалуйста, не дыши так, если можно, в лицо. Не обижайся, но я задыхаюсь... Ты говоришь: не притворяйся. Этот пузан ко мне отношения не имеет, я с ним незнаком, но слов его отрицать не могу. Какое может быть притворство, если я свои слова уже записал на бумаге, не вычеркнешь. Я даже сочинил, представь, что мое поколение застало последнюю большую войну. Ну, не то чтобы думал соврать, я был уверен, что это правда. Война казалась тогда настоящей по-другому, не как сейчас. Отец принес с той войны пистолет — какая сладость была его подержать, поцелиться! Сколько я совершал с ним подвигов — за правду. Каких наказывал злодеев... конечно же, злодеев! Как я завидовал смотревшим в лицо смерти, по-настоящему! Какое было чувство справедливой власти, какая гордость!.. Я понимаю, смешно сейчас перед тобой даже произносить такие слова. Не могу, наверно, вынырнуть из фантазий. Конечно же, война была не тогда, она сейчас... я не вполне уверен, где. Бессмысленно спрашивать. И кто может знать заранее? Где угодно. Нет месяца, чтоб не стреляли, не убивали... вот к чему я, может быть, не готов. Чего-то не хватило. Наверно, воображения... да, представь себе. Настоящего, честного воображения. Придумывать надо так, чтоб до предела раскрыться... до сути дойти. А как ее уловить? Этот пятнистый по-своему выразил. Тогда казалось, нельзя все-таки без идеи. Хотя бы какой-нибудь... Я не опровергаю и не отказываюсь. До сих пор просто удавалось, может быть, обходиться. Сочинял, что говорить... хотя думал, что от моих слов мало что на самом деле зависит. Но вот, оказывается... Жена... бывшая жена... говорила, у меня мозги вывернуты не в ту сторону. Досочинялся до того, что у всех жизнь пошла не туда... и у нее, и у сына. Ты его должен помнить, вы вместе майских жуков ловили. Я не оправдываюсь, не думай. Не получается соответствия... как выразился один тип. Вот, показывают чуть не каждый день всякие раздавленные кишки, ужасы. Собаки эти самые жрут трупы. Я видел. И ничего, можно, оказывается, жить, как жил. С той же головой, теми же чувствами. Даже вот столечко не тошнит, мо-

жешь поверить? Такому, как я, это непросто понять. Пока все эти ужасы были для нас словами, какие закипали чувства! Слова действуют, оказывается, сильнее. А когда ни от чего, кажется, не тошнит — настоящее это или нет? Поахать, конечно, можешь, с полным чувством, но без внутренних последствий. Как в кино. Картинки обезображенных трупов, может, для того и показывают, чтобы от них отделаться насовсем, поскорее. Чтобы они больше не существовали. Проще лить слезы по тем, кто остался в воспоминании не таким. Или кого мы вовсе не видели. Образы создаем. Веками создаем образы один мощнее другого. Так надо для жизни. Ужас это или не ужас? Если ты все равно остаешься ни при чем? Почесываешься, конечно, как от блох. Но не больней, не опаснее. Кожа привыкает, это научный факт. Срабатывают защитные механизмы. И порошки разные есть... Нет, не в притворстве дело. Я еду не с вами, это действительно. Не могу, извини. Но тоже, представь себе, в ящик, — решил вдруг Зимин не то что щегольнуть для чего-то — но словно все не удавалось до конца оправдаться. — Слыхал, что это такое? Сам не знаю. И знать не положено. И не хочется туда, по правде сказать. Ох, не хочется! Сидел бы в своем. Но вот, оторвало. Сел в поезд — на ходу уже не выпрыгнешь. Зачем-то надо. Не могу объяснить. И вслух не все можно. Только совсем тихо. Приставь к моему уху лупу, если у тебя есть... Туда ведь не всех пускают... дебри бреда... зеленого цвета, чтоб издали не было видно...

— Да куда ты полез? — с угрозой спросил голос.

Господи, — вздрогнул Зимин. Он словно опять очнулся. До него тут только дошло сознание, что он говорил сам с собой, вслух или не вслух. Хотя как будто уже некому было его слушать. Словно этот рыжий успел незаметно от тебя отвалиться... Когда? Был ли он вообще? Или ты опять ухитрился теперь уже в самом деле незаметно вздремнуть? Давно ли? Но чей это в таком случае был голос? Надо ли было ему отвечать? Почему он спросил так?..

С полки напротив и снизу уже слышался храп, ворочались тела, поезд громыхал на стыках. Да, значит, не заметил даже, когда все улеглись. И то ли наяву, то ли в дремоте — все о том же. Непонятно о чем. Едешь неизвестно куда, неизвестно зачем. И чем в самом деле захотел похвастаться? Выдал, о чем лучше было помалкивать... А!... ладно. Не о том опять думаю. Все-таки бы надо по-настоящему заснуть. Может, действительно получится. Только бы не проспять станцию. В восемь двадцать пять... а который теперь час? И запах все-таки чувствуется. Разлит ли он по всему вагону, продолжает ли кто-то молча дышать совсем рядом, в упор? Неужели все-таки он? Открыть бы снова глаза, удостовериться... В детстве ты хитро умел притворяться. Главное в таких случаях — не замирать, будто совсем неживой, не выравнивать ненатурально дыхания, нет, наоборот, посопеть, промычать вот так во сне... и как бы во сне повернуться...

Это движение причинило Зимину внезапную боль на горле, вынудив замереть. Будто натянулась, зацепившись за что-то, нашейная цепочка... то есть какая цепочка?.. у меня никакой нету, — замельтешилось в полусонном уме. Что это было такое? Хорошо, что не дернулся сильнее. Следит ли кто сейчас за тобой? Ждет, что ты сделаешь дальше?..

Он попробовал шевельнуться еще раз, осторожно... Горло действительно было перетянута чем-то тонким. Неужели ухитрился этот рыжий... или кто-то еще из них... придумал? Все-таки осторожно... как будто именно не просыпаясь... подвинуть к шее свободную левую руку... Да, в самом деле, натянута что-то вроде лески. Этого и следовало от них ждать. Ведь знаешь же, что такое жизнь, надо заранее быть готовым. Неважно, что они к тебе могут иметь, важно в решающий момент бодрствовать. Чтобы не попадаться. Хоть бы подумали, идиоты, как могут закончиться такие недетские шутки. Затаились где-то поблизости, дышат на полке напротив, ждут...

С силой, резко Зимин потянул леску рукой. Она больно вдавилась в ладонь — но все-таки лопнула или оборвалась. Приподнялся на локте. Никого перед ним не было, лишь на противоположной полке кто-то действительно лежал, отвернувшись. Храп слышался вполне натуральный... не ты один умел прикидываться. За окном было уже светло. Неужели утро? Ведь только что было темно. Который час? Или в здешних местах уже время белых ночей? Но разве я еду на север? Куда я еду?..

Поезд замедлял ход. Зимин наклонился с полки, глянул в окно — и совсем уже ошалело увидел на проходившей мимо платформе щит с названием своей станции. Ему нужно было здесь выходить, то есть попросту выскакивать, поезд мог стоять не больше минуты. Некогда было даже обувать кроссовки.

Чей-то приоткрывшийся глаз смотрел на него с нижней полки. Здесь спали полусидя, полулежа, навалиясь друг на друга... совсем как будто другие люди... вот даже две женщины с ребенком...

Благо, собираться было не нужно. Куртку и кроссовки в руку, спортивную сумку на плечо — и чуть не упал, споткнувшись о чью-то ногу. Разбираться уже было некогда — успел выскочить.

### 3

Этот сдвиг внезапного перехода, возможно, еще больше усугубил двусмысленное, недостоверное чувство. Чего он не ожидал от себя — так это почти спортивной, почти невесомой легкости, вконец утраченной, казалось бы, после болезни. Ни сердцебиения, ни одышки. Запах вагонной духоты, перегара, прокисшей закуски держался даже сейчас — словно не в памяти легких, а в самом окружающем воздухе. Как держалась еще эта резь на горле или внутри горла. Так просыпаясь, бывало, в поту с чувством, что тебе нечем дышать. Вдавленный тонкий рубец еще болезненно ощущался ладонью, но едва выделялся своей краснотой и прямизной среди других бороздок на ней. Покажи другим — признает ли кто на самом деле след опасной лопнувшей лески?..

Заслужил, заслужил, — бормотал про себя Зимин, балансируя на одной ноге, чтобы обуть кроссовку; нога, еще в носке, брезгливо ощущала прохладную сырость платформы. — Непозволительно так расслабляться, могло занести, затянуть невесть куда...

Поезд, чокнувшись на прощанье вагонами, тронулся дальше. Освободилось пространство для другого, все более узнаваемого запаха, он растекался в утренней промозглости. Стандартная беленая стенка перед бетонным сортиром в конце пер-

рона тоже выглядела знакомой. И зеленая краска на станционном здании была, как обычно, облуплена. Ты сюда уже приезжал или дожидался здесь поезда и заходил перекусить вот в эту стеклянную забегаловку (вкус сомнительных мучнистых котлет ожил в желудке — шевеление памятной тошноты, вставленной даже когда-то в попутный сюжет)...

Минуту спустя Зимин сам удивлялся, почему запах сортира не пробудил в еще дремотном сознании мысль хотя бы наскоро справиться уже накопившуюся нужду — не говоря о том, чтобы просто где-нибудь умыться, привести себя в мало-мальский порядок. На привокзальной площади разогревался, готовясь к отправлению, единственный автобус, и Зимин заспешил к нему, почему-то сразу решив, что автобус тот самый, указанный в письме, на него надо было успеть. Хотя взгляд, мимоходом скользнувший по вокзальным часам, не отметил даже осмысленного положения стрелок. Едва Зимин вошел, автобус тут же тронулся, а он не мог уверенно сказать, указана ли была пристань в табличке на ветровом стекле.

И чего так рванулся, не оглядевшись? — качнул он головой, протирая запотевшее стекло; уголки глаз он заодно протер смоченным осторожным пальцем. Надо было хоть посмотреть обратное расписание. Убедиться, что обратные поезда отсюда ходят. А мог бы ведь просто проехать станцию — нечаянно, не нарочно. И все, нечего дальше решать, не о чем рассуждать. Сумел выскочить, как ошалелый. Опомнился. А тут тебе и автобус. И на него ухитрился не опоздать. Значит, дальше. Можешь даже припомнить, зачем — понимания не прибавится. Все дальше в дебри...

Асфальт на городской улице был разбит, чувствительно давая знать о себе тряской. Дома вначале шли двухэтажные, каменной старой постройки, потом начались деревянные. Знакомо, еще бы не знакомо, — думал Зимин. — Не столько улица, сколько чувство. Словно этот автобус и впрямь везет тебя в то же трогательное заходустье — памятное по временам, когда ничего не стоило взять рюкзачок и странствовать неделю, другую. Ночевать в райцентровском Доме крестьянина, с цинковым баком для кипяченой воды и кружкой на цепочке, с железной печуркой в номере и поленицей во дворе. Или в каюте на речном дебаркадере (рубль за ночь), где вы лежали с возлюбленной, не укрывшись даже простыней, жужжала ленивая летняя муха, а за дощатой стенкой в шаге от вас ходили и разговаривали о своих делах пассажиры. Или в таком вот деревенском, считай, доме, с сеновалом, клетью и всяческой живностью, с набором тусклых фотографий в общей рамке на стене — семейным иконостасом, распив для разговора с хозяйкой привезенную четвертинку (тогдашняя валюта). А утром вас подвозил куда-нибудь дальше попутный грузовик, где в кабине сладко пахло теплым бензином, и в попутной чайной подавали олады с брусничным вареньем, грибки местного засола, и сохранившиеся церковки были прекрасны, хоть и употреблены под склад или ремонтные мастерские. Выйти бы здесь, задержаться надолго, а там и насовсем, раствориться в повседневных заботах о пропитании, о поддержании теплой, непряхотливой, привычной жизни, с которой больше необязательных, посторонних мыслей связывает запах детских пеленок, кухонного керосина, куриного помета, квашеной капусты в погребе. Уйти от прежней... или, наоборот, вернуться... Ведь можно же...

Автобус притормозил возле остановки, приглашая садится желающих. Трое мужчин смотрели через окно прямо на Зимина безучастным взглядом: совсем еще молодой паренек в серой кепочке, облокотившийся о седло велосипеда, краснолицый мужик в телогрейке и высоких сапогах с отворотами, болезненного, то есть скорей испитого вида старик с козой на веревке. Как когда-то. Как всегда, в тех же позах. Задержались друг возле друга, чтобы по случаю покурить вместе. Старик по-прежнему предпочитал самосад, сворачивал газетную бумажку почернелыми пальцами, откашливал закопченную мокроту. В сторонке пацан отгонял от дороги гусей, трое проследили за ним взглядом, покуривая. Оставалось ли им еще о чем говорить?..

— И этот пустой, — пошевелил губами старик, глядя через окно прямо на Зимина. — А говорили, народ поедет.

— Пока храма нет, народа не будет, — ответил мужчина.

— Чтоб храм поднять, нужны деньги, — высказал мнение паренек.

— Не будет храма, откуда деньги?

— Сначала деньги, тогда храм.

— Сначала храм, тогда деньги.

— Кому что.

— Хоть купол подняли.

— Купол подняли, а яиц теперь нет...

Автобус, никем не пополнившись, тронулся дальше. Зимин проводил оставшихся взглядом. Губы их шевелились беззвучно, как полжизни назад. Только разве поменялись возрастом: пацан, гнавший гусей, вырос теперь в этого парня, тогдашний старик уже догнивал на погосте. Живописные когда-то домишки скособочились, обросли дополнительной рухлядью полутнилых почернелых сарайчиков, пристроек, курятников, они отличались друг от друга лишь размерами и скоро должны были истлеть вместе, если никто не снесет прежде. Так и не нашлось сил выйти, — запоздало оценил свое состояние Зимин. — Только на мысль и хватило. Улица выглядела безлюдной, словно остальные в этот час еще спали. Дымка, чем дальше, тем заметней окутывавшая дома, казалась веществом витавших здесь сновидений. И как бы поверх этих снов позади домов поднялось что-то сияющее, золотое. Облегченный для порыва ввысь, дутый шар, кверху вытянутый и заостренный, повис в белом воздухе, невесомый, нездешний, даже чуть наклоненный, точно расслабился один из канатов, которые удерживали его, чтоб не взлетел. Но ни канатов не было видно, ни старинной полуразрушенной церкви под куполом. Растворилась, слилась с туманом. В ней когда-то была птицефабрика, — смутно сопоставлял в уме Зимин, — а в пристройке клуб для молодежных танцев... Вдоль дороги справа на временных стойках развешаны были для продажи проезжим большие купальные полотенца и коврики местного, видимо, производства; кроме красочных полуголых красоток на некоторых была изображена белая церковь с золотым куполом, какой она обещала стать после восстановления...

Автобус свернул налево. Да, здесь и должен был кончаться асфальт, — подтверждал для себя Зимин. Дальше действительно пошла проселочная дорога. Туман за окном становился плотней, совсем уже непроглядный. Попытка стереть его со стекла больше не помогала. Они явно спускались все ниже к воде. Приходилось ползти буд-

то наощупь, медленно — но как было судить о скорости движения? И долго ли они так ехали? Смотреть вокруг было теперь бесполезно, Зимину лень было даже открывать глаза, чтобы взглянуть на часы. Оказывается, он для отдыха все-таки прикрыл веки. Заснуть он не мог все равно — просто чтобы не напрягаться зря. Только не проехать остановку, — повторил про себя он. Но тут же вспомнил, что остановка у него конечная, и проехать ее невозможно. Никого в автобусе больше не было, он предназначен был для единственного пассажира, да и без него, наверно, катил бы так же. Зимин попытался вспомнить, взял ли он у шофера билет? Автоматические действия проходят мимо сознания. Сейчас заявятся контролеры, — думал он, — оштрафуют. Или даже высадят. Тогда все. Никакого катера. А то еще окажется, что автобус все же не тот... Достать, что ли, бутерброд? — думал он. — Пора вроде бы подкрепиться, но нет даже чувства голода...

— Э! Выходить собираешься? — трясли его за плечо.

Зимин встрепенулся. Его расталкивал шофер. На какое-то время он все-таки отключился...

Туман обступал его теперь вплотную, как сырая холодная вата. Автобус, взревев, развернулся. Фары бесполезно высветили две призрачных коротких дорожки в белой гуще. Потом и красные огоньки растворились в ней.

Он беспомощно огляделся. В какой стороне тут могла быть пристань? Надо было спросить водителя... опять не успел, не сообразил. Лишь наклон утоптанной дорожки указывал направление к реке. С той же стороны веяло особенно прохладной сыростью. Чего я на самом деле хочу? — с усилием попытался отдать себе отчет писатель. А... справить нужду — вот что действительно возвращало к реальности.

Давно не случалось ему двигаться в настолько густом тумане. Смутные тени, приблизившись, оказывались каждый раз деревьями. Лишь тут он, наконец, вспомнил о необходимости взглянуть на часы. Они показывали без пяти одиннадцать. Вот тебе и на! — екнуло у Зимина внутри. А катер-то в девять тридцать. Неужели можно было так опоздать? Так долго автобус тащился в тумане? Приложил часы к уху — и вздохнул с облегчением. Остановились, оказывается. Забыл, видимо, завести, вчера или позавчера. Но который теперь час был на самом деле? Утра или вечера? Рассеянный свет делал неопределенным само состояние суток.

Утраченным казалось не только время, не было ни звуков, ни красок, лишь оттенки серого. Какой-то, помнится, художник считал этот цвет несуществующим, он брался воссоздать его сочетанием красок радужных и даже вообще убрал с палитры черную, не желая разбавлять ее белилами. Интересно, как бы он обошелся здесь, — думал Зимин. Сколько ни вглядывайся. Туман лежал в траве, как густой пух, свисал с веток размокшими рыхлыми клочьями, обкладывал слух. Голос жалобной птицы возник вдруг в нем — ясно, чисто, подтверждая, что дело все же не в оглушенности.

Откуда у Зимина было ощущение, что он идет в правильную сторону? Вот здесь держаться надо было правой, — чувствовал он, и в самом деле — в трех шагах слева начинался скользкий обрыв. Осторожней, — отмечал неявным сознанием он... а вот тут деревянные ступени спуска и мостик через ручей... И пристань — вот она, наконец. Все-таки существовала, действительно...

Дебаркадер выглядел так, как ему в таких местах полагалось, по крайней мере снаружи. В зале для ожидания были свалены прогнившие доски начатого неизвестно когда ремонта. Настил частично снят, торчали из воды голые, тоже полусгнившие сваи. Пахло сырой необитаемой затхлостью. Кассовое окошко закрыто было фанерным бельмом. Над ним висел ценник — судя по цифрам, чуть не десятилетней давности — и расписание рейсов на Урязино, Кокошино, Изгойск. Вот на Изгойск имелся рейс на катер или, как здесь было написано, на теплоход — как раз в 9.30. Только названия такого Зимин не знал. Может, именно этот Изгойск был зашифрован когда-то номером почтового ящика, может, это название успели даже вернуть. Ни в чем не могло быть уверенности: даже в том, куда ты на самом деле попал, на тот ли все-таки автобус сел. И не у кого было теперь спросить, как вернуться обратно. Обратно...

Пронзительный телефонный звонок заставил его вздрогнуть. Аппарат устарелого образца висел в углу возле закрытой служебной двери. Звук отдавался в пустом помещении громко, требовательно, и пока Зимин колебался, надо ли ему подойти, смолк. Он не успел расслабиться, когда телефон затрезвонил опять, раздраженно, нетерпеливо. Писатель поспешил на сей раз снять трубку.

— Ты что ж не подходишь, — сказал обиженный женский голос. — Я ведь знаю, что ты здесь.

— Я здесь случайно, — не нашел другого ответа Зимин. — И даже не думал, что телефон работает.

— Ну, зачем мне-то так говорить? Никто не знает, но мы-то с тобой знаем. Я не в обиде, не думай. И звоню без упрека. Просто чтобы услышать голос, знаешь, как это бывает нужно... Ты, может, приедешь?

— Катера нет.

— Ну да! Не умеешь соврать красивей. Я знаю, ты все равно не приедешь. Но чтобы хоть ненадолго поверила. Мне ведь не честность твоя нужна. Велика радость с твоей честности. Только и слышишь: звонить нет смысла, телефон отключен, на пристани нет никого. И самой пристани больше нет. Как ни придумывай, лучше не будет. Я понимаю, той нашей жизни и быть не может... А как там сейчас пахнет, скажи?

— Водой пахнет, — сказал Зимин. — Прелыми листьями.

— А у меня сверчок поет. Он в углу тут пристроился, за дверью, я его обнаружила. Такой на вид нескладный уродец, я не ожидала. Никогда раньше не видела. А голос какой! Ты слышишь?

— Слышу, — сказал Зимин.

— Нет, по-настоящему ты все-таки обманывать не умеешь. Сверчок поет ночью, а когда еще будет ночь? Меня все тут обманывают, я знаю. Может, так лучше. Узнаешь, говорят, правду, не сможешь жить. Я понимаю. Но надо же, чтоб хоть в памяти, хоть в воздухе оставалась нежность. Помнишь, какие ты мне читал стихи?

— Какие?

— Дождь стер черту  
Разделявшую небо и воду  
Белые паруса

Плывут над деревьями.

— Японские, что ли?

— Почему японские? Ты говорил, твои.

Стекла перебрасываются отражениями

Уже их не возвратят.

Ты хочешь меня увидеть?

— Как мне тебя увидеть? — сказал Зимин.

— Только бы захотел, сам знаешь.

И каждую ночь

Эта репетиция рождения и смерти.

Но ты себя побережь постарайся, я чувствую. А мне ведь очень важную вещь тебе надо сказать. Ты слышишь?

— Да, но в трубке какой-то шум.

— Это не в трубке. Это же мотор заработал. Ты слушаешь меня?..

Зимин повернул голову. Заработавший на самом деле мотор вдруг взревел где-то совсем близко. Трубка еще была в руке. Осторожно, точно украдкой, чтобы не добавлять слов, он вернул ее на рычажок и зашпешил на звук.

Нетяжелая наплечная сумка позволяла бежать. Опять он отметил все ту же, сверх ожиданий, легкость. Туман вроде бы немного ослаб. Возле небольших мостков, исполнявших, видимо, временную роль рабочей пристани, стоял непривычного вида катер, окрашенный в серо-зеленый, полувоенный цвет. Матрос в куртке такого же невнятного цвета и черной спортивной шапочке уже убирал трап. Зимин на бегу крикнул, чтоб подождали, и без трапа вспрыгнул на борт — едва там не поскользнувшись. Матрос грубовато его подхватил и выровнял.

— Ну, тебя еще специально ждать, — буркнул он тоном служебного недовольства, словно ситуация позволяла ему панибратство. Лицо у него было мятое, серое, как бывает с похмелья. Можно было подумать, что именно Зимина они дожидались.

— Туман, — пояснил Зимин, зная по опыту, что лучше в подробности не вдаваться. — А вы... в этот?... Куда вы направляетесь? — запоздало побеспокоился он, сознавая идиотизм вопроса. Все та же история: не оказывается времени уточнить прежде, чем прыгнуть. Все тот же нелепый, вынужденный завод продолжал действовать.

Мотор уже работал равномерно, катер плыл неизвестно куда сквозь туман.

— А вам куда надо? — с понятным недоумением, но как бы и с оттенком настойчивости, переходя на «вы», спросил в ответ матрос.

Зимин внутренне выругался. Номерного адреса он наизусть не помнил, и имело ли смысл называть именно его?

— Сейчас, — сказал он, нащупывая во внутреннем нагрудном кармане телеграмму. — Вот.

Матрос взял из его рук сложенную бумажку, развернул непослушными черными пальцами.

— А... по вызову? — понял он. Ну, вот и хорошо, с облегчением подумал Зимин, адрес отправителя не возбудил по крайней мере вопросов. Значит, попал все-таки

правильно. Матрос перевел взгляд с телеграммы на Зимина, потом снова на телеграмму — точно сверял с фотографией на документе. — Вы, что ли, тоже Зимин?

— Да, — сказал тот. (Могу и документ предъявить, — чуть не добавил он. Но решил сам без надобности не нарываться). — А что?

— А почему не заверено?

— Что? В каком смысле? — не понял писатель.

— Ну, в случае смерти — положено ведь заверять подлинность. Чтобы по вызову отпустили со службы. Меня так же вот из армии вызывали, когда мать задавило. По незаверенной телеграмме отпускать не имеют права. Вдруг фальшивка, мало ли что? Кому-то прогуляться по отпускной захотелось.

— А... Меня отпускать ни с какой службы не надо, — объяснил с усмешкой Зимин. — Я человек, как бы выразиться, свободной профессии.

— А., — сказал матрос тоном, как будто объяснение было более чем достаточным. (Правильно, что не сказал: писатель, — отметил про себя попадание Зимин. Каким-то особым разрешением на въезд тот, похоже, не интересовался). — А то оформят кому как попало, и с нас же потом спрашивают. Тем более вы не с экскурсией. Ведь кто только не рвется сюда! А спроси некоторых, зачем? — Он качнул головой и вновь уставился на телеграмму. — Похороны! Какие у них могут быть похороны?

— Не бывало прежде такого? — не удержался от иронии Зимин.

— Бумажек таких прежде не было, — покачал головой тот. — Кому такие дают? У вас кто-то там есть? Родственник, значит... А больше у вас ничего?

Что ему еще нужно? — снова насторожился писатель. — Все-таки пропуск? На пристани могут спросить? Чего он так медленно тянет? Смотрит на тебя, точно ждет: какое решение ты сам предпочтешь: чтобы тебя пропустили — или чтоб завернули назад? При чем тут я? — почувствовал он нарастающее раздражение. Не от меня зависит. Не нашел дорогу, не туда попал, не пропустили. В любом случае подтвердится то, чего ты мог ожидать. И не будешь считать потерянным время. Оно ведь так ли, иначе оказывается наполнено. Как наполнена чем-то, говорят, даже теоретическая пустота... Чувствовалось, что матрос, вряд ли имевший отношение к каким бы то ни было пропускам, решает что-то по другой, своей мысли. Он возвратил, наконец, бумажку и пояснил свои слова мусолением пальцев.

— В смысле билетов? Уплатить? Ну, Господи! Это конечно, — устыдился элементарной своей недогадливости Зимин. Наряду с облегчением словно осадок невольного разочарования выпал на доньшко: значит, все-таки еду. — Касса тут, вы же знаете, не работает. Само собой. Сколько с меня?

Матрос опять протяжно посмотрел на него — то ли обдумывал, сколько взять, то ли ожидал все-таки чего-то другого. Кивком показал, чтобы Зимин проходил в салон, сам, ухватясь за поручни, соскользнул вниз — туда, откуда несло утробным теплом машинного отделения.

С удовольствием последовал бы Зимин за ним, чтобы согреться. Сырость все чувствительней пробирала. Сидеть даже в закрытом салоне было зябко. Он поднял капюшон куртки, нахохлился. Хотелось мысленно восстановить в воздухе голос женщины, ее слова. Какую важную вещь он не дал ей договорить? Надо было успеть, до-

слушивать не хватило времени. Успевай-то успеваешь, но вот куда? Так почему-то все получается.

Почти весь проход и даже сиденья завалены были разнообразными мешками, тюками, громоздкими сумками из цветного стекловолокна. Этот служитель ведь тоже чего-то не договаривает. Ну и не надо. Доплыть доплывем, — подумал Зимин, — там станет ясно. Если не заблудимся в этом молоке...

В таком вот тумане он переплывал как-то на моторной яхте большое озеро, держа курс только по компасу. Знакомое чувство недостоверного движения. Хотя на реке другое дело, тут мель возможна, какой-нибудь остров попутный — а ни бакенов не видать, ни берегов. Не определишь даже, в какую сторону течение. Легкие белесые завитки шевелились над темной поверхностью воды. На старой карте река была обозначена чуть ли не как тоненький ручеек — но вот, оказывается, разлилась. Может, плотину где-то успели построить...

Высоко наверху, зависнув в тумане, проявился, медленно приближаясь, пролет ажурного пешеходного моста, неизвестно откуда поднявшегося и куда спускавшегося. По нему шла девочка в зеленой куртке, с оранжевым школьным ранцем за плечами. Она остановилась у перил и, перегнувшись, стала смотреть вниз, на катер. Движение было беззвучным, медленным. Заглохло натужное старанье мотора. А девочка вот-вот должна была исчезнуть из поля зрения, проплыть над головой — и не вывернешь шею, чтобы смотреть на нее через окно вверх. На серо-зеленый, в водяных каплях, поручень откуда-то сверху шмякнулась белая нашлепка помета.

Зимин поспешил из салона, чтобы все-таки проводить девочку взглядом. Он надеялся выйти на корму, но неожиданно попал в закрытый темный отсек. Встревоченные глаза уставились на него. В тесноте, прижавшись друг к другу, сидели на полу, на вещевых узлах люди с детьми; среди них были даже двое чернокожих. Белки их глаз светились испугом. Зимин попятился, поскорей вернулся к себе в пустой салон. Холод уже в самом деле начал его донимать...

Когда впереди проявился высокий берег, стало видно, что туман уже все-таки не прежний. Две постройки на берегу выглядели нежилыми: то ли склады, то ли сараи, и ничего больше. Матрос, выбросивший сходни, был теперь другой, вида скорей заспанного, чем похмельного, с азиатскими скулами. Зимин помедлил и подержал руку в кармане, ожидая уточнения насчет платы — он не хотел проявлять инициативу, чтобы не возобновлять непонятных разговоров о праве своего приезда сюда. Матрос, похоже, растолковал его задержку по-своему.

— Вам порошок нужен? — сказал вполголоса он.

Какой еще порошок? — чуть было не спросил Зимин — но вовремя сообразил, что непричастности к здешним делам лучше не обнаруживать. Ему надо было спросить другое: где здесь кладбище, как на него пройти. Но уж такой вопрос тем более стоило придержать при себе.

— Нет, — сказал он коротко.

— У нас дешевле, чем тут, — заверил матрос. — И без подделки, не сомневайтесь. А может, электроникой интересуетесь? Есть импортный ширпотреб, в ассортименте...

Зимин отрицательно помотал головой. Никакого другого интереса к нему у матроса не оказалось, он лишь дожидался возможности снова поднять сходни.

Была бы тут хоть настоящая пристань, с какой-нибудь внятной надписью! Слово катер высадил его, где пришлось, на нежилом месте, как высаживают незаконных контрабандистов. Чтобы не обременять себя непонятной ответственностью. А сам теперь отчалил к настоящей пристани, где тебя, впрочем, вряд ли кто дожидался. Знать бы, что дожидаются!

Разъехавшиеся деревянные ступени вели наверх. Окна двух почернелых строев, которые издалека показались складами, заколочены были досками. Сквозь одну крышу прорастала береза. Кучи мусорного происхождения поросли бурьяном, образуя до тоски знакомый пейзаж. Дорожка, утоптанная когда-то от лестницы, перегороджена была длинной, судя по всему, новостроечной бетонной стеной. Влево тоже идти было некуда, оставалось двинуться направо, вдоль замусоренного обрыва.

Одышка, наконец, стала все-таки ощутимой. А может, бетонная сплошная ограда вызывала у Зимина чувство ограниченного, недостаточного для дыхания пространства — как бывало во времена, когда он спешил и безнадежно опаздывал на свидание по улицам и переулкам поселка, состоявшего сплошь из длинных глухих заборов; за ними слышались голоса, лай собак; доносился запах сладкого самоварного дыма, цветущих яблонь, но от тебя эта жизнь была закрыта; голый качающийся фонарь высвечивал лишь геометрическую перспективу, навязывая единственный путь. Стена и впрямь точно загораживала от воздуха — хотя с другой стороны простор оставался открыт. Водная гладь внизу, под откосом, все еще сливалась с туманом, ширина реки оставалась неопределенной. А на берегу он уже почти рассеялся. Лишь пух белых, необычайно крупных здесь одуванчиков плавал в воздухе, как выпавшие в сыворотку хлопья.

Пространство свалки постепенно расширялось, кучи пивных банок, опустошенных когда-то Шаровым, сменились обычным смешанным металлоломом. Из чугунной облупленной ванны торчала рука отмененного памятника. Дальше громоздились все более в высоту останки покореженной, обгорелой военной техники, целые ходовые части, куски танковых гусениц, навал заржавелых касок. Вот оно что, — примерял неопределенно Зимин. — Может, это и называлось когда-то номерным ящиком...

Металлический взвизг и скрежет — прямо по коже спины — заставил его передернуться. Торчавшая над грудой металла танковая башня с пушкой уставлена была жерлом прямо на него, словно только сейчас повернулась. Быть этого не могло, однако инстинкт заставил Зимина все же отодвинуться из-под прицела чуть в сторону. Из откинутого люка высунулась голова в каске, украшенной венком из увядших одуванчиков, потом поднялось по пояс голое тело.

— А, вон он где, — обнаружил Зимина человек. Он что-то дорабатывал жующими движениями рта. — Ты чего тут ходишь? Тут дикарем нельзя.

— Я не дикарем, а по бумаге, — сам не ожидая от себя такой находчивости, ответил Зимин. Нечаянное наитие подсказало ему, что вылезать за бумагой этот диковинный страж не станет. Тем более, что голым он был, кажется, не только по пояс. На животе поверх пятна зеленки наклеен у него был крест накрест пластырь. Чири-

ем, должно быть, страдал. Надо было задать ему действительно нужный вопрос, но как? — А ты знаешь про Зимина? — понесло вдруг дальше неожиданное вдохновение.

— Чего? — переспросил тот — и как бы против желания, преждевременно сглотнул недожеванный комок. К удивлению самого Зимина, имя и впрямь произвело впечатление. — А я тут при чем? Это вам надо в контору.

— А далеко контора? — воспользовался, наконец, возможностью естественного продолжения Зимин — но это, похоже, оказалось нечаянным промахом.

— Так вот же она, тут, — показал с некоторым недоумением голый страж. Показывал он рукой вправо, но голова при этом дернулась поперек, влево. Зимин глянул и в ту сторону, и в другую — ничего не было видно, кроме продолжающейся бетонной стены.

— Да что ты с ним говоришь, комбинат со вчерашнего дня не работает, — крикнул откуда-то снизу, из металлических глубин, женский голос. Зимин только тут заподозрил, что самого танка под башней как бы и нет, там навалена была высокой кучей свежескошенная трава. Так безногий инвалид прикрывает ветошью отсутствующую нижнюю часть. — Все закрывают на перестройку.

Женская рука поднялась из люка, загнутым средним пальцем зацепила стоявшего за пупок, чтобы, как крючком, опустить вниз.

— Да погоди, дура, — голый отлепил от живота руку, точно банный лист. — Я же не по службе. Надо поговорить. А он: Зимина знаешь? Вы не археолог случайно?

— При чем тут археолог? — насторожился Зимин. В таких разговорах, когда хотят выяснить, кто перед тобой и как может поступить, правильнее выждать, пока раскроется другой.

— Да вот, мне тут пара листков из журнала попала, — оживился страж, почесывая живот выше пластыря. — Насчет археологии. И прямо про нас. Эй, Дусь, дай мне эту страничку, — крикнул он вниз. — Под автоматом прижатая... Я прежде по службе сам занимался такими же вот отвалами. В смысле переплавить танки на консервные банки... Вот, — получил он снизу листок. — Дусь, а где там очки? Дай очки, мне так не разобрать... Ну, я могу пока своими словами, — решил он не терять время. Там про археологию, как говорится, с обратным знаком. То есть, в экологическом смысле. Для этой, пишут, специальности главная находка — отбросы и любые мелкие черепки, правильно? По ним можно разобраться в любой цивилизации. И вот, пишут, гляньте, что оставляет после себя наша. Сколько произведено памятников материальной, как у нас любят выражаться, культуры. Ведь через сотню лет, не говоря через тысячу, специалист задохнется в этих навалах. Но скорей всего и разбираться не будет уже смысла. Нужна, пишут, такая цивилизация, чтобы памятников после себя не оставляла. То есть желательно без следов. Которые называет памятью разная интеллигенция. Нет. Живешь — живи, а после тебя чтоб было чисто. Вот что такое экологическая идея. Есть ведь, пишут, уже такая химическая посуда, которая от времени сама собой растворяется. И надо все на такие материалы перевести, чтобы следующие поколения не загружать. Хотя интеллигенция, может, на это не согласится. Им ведь важно оставаться в веках, а как же... Дусь, ну где все-таки очки?

— Ты долго еще будешь трепаться? — поторопил женский голос с ноткой капризности. — Думаешь, с интеллигента на пол-литра обломится?

— Причем на пол-литра! Я же не по службе, я по-человечески. Попался же человек... про Зимина даже знает. Он, может, и написал. Не все ведь с тобой общаться, плотская тварь, — огрызнулся голопуз добродушно и надел на обожженный загаром нос поданные, наконец, снизу очки. — Есть, они говорят, мысль, что паренье духа, свобода и торжество наступят, когда вещи будут уничтожаться вообще в день изготовления, да?... Где тут?... Ну, падла, это же другой листок!.. Но тоже, между прочим, интересно. Про археологию. Вот... «Скелет, обнаруженный при раскопках, находился в почве вертикально вниз головой, захватывая три исторические эпохи. Череп оказался в двенадцатом веке, в слое золы, оставшейся, как предполагают, от сожженного татарами селения; кости туловища были среди черепков шестнадцатого века, разбитых, скорей всего, во время одного из опричных погромов; конечности торчали среди полуобгоревших, полусгнивших досок, которые до революции считались иконами». А? История!.. да погоди ты! — вскрикнул он, вынужденный все же согнуться: невидимая рука что-то с ним там, внизу, произвела. — Не дает, падла! Что с ними делать? — выпрямился кое-как он. — Э, отец, — поспешил он напоследок задержать Зимина, — а хоть закурить у тебя найдется?

— Не курю, — ответил тот и огляделся опять, соображая, как бы все же расспросить подробнее про контору. «В отцы меня произвел», — уязвленно отметил он про себя.

А когда обернулся к голому сторожу снова, тот уже исчез в металлических дебрях, в бронированном чреве или под копной непросохшего сена, где оставалось предположить мягкую, нагретую телами ветошь, и выпивку с закуской, и надышанный теплый уют — обиталище, не зря ведь от века желающее называться крепостью. Женское довольное взвизгивание подтверждало местонахождение обоих.

#### 4

Пройти понадобилось совсем немного. За уступом бетонной ограды, в углублении, открылась загороженная до сих пор от взгляда двухэтажная постройка из того же материала. Никакой объясняющей вывески у двери не было, если не считать черной стеклянной таблички: «Служебный вход». Ниже имелась еще одна, белая: «Пропуск предъявлять в развернутом виде». Но Зимин уже понимал, что обе они для него бесполезны: большой ржавый замок висел на двери.

Все-таки уперся, — вынужден был устало признать он. Дальше соваться было некуда, глухая стена впереди спускалась к самой воде. И ведь говорил же себе с самого начала. Теперь надо опять возвращаться под танковым дулом, неизбежно объясняться со сторожем в каске, кто же ты на самом деле такой, раз не оказался допущен, забрался, куда не положено, даже не знал, что для тебя входа здесь нет. А в другую сторону тоже пройти некуда. Будешь торчать один на пустом берегу, как потерпевший кораблекрушение, дожидаться, не подберет ли тебя кто случайно.

Прикинув к черному окну, Зимин попробовал всмотреться, нет ли кого внутри. Прикасаюсь лбом к запыленному стеклу было неприятно. Разбить, что ли, его,

забраться каким угодно способом внутрь, а там пройти через бетонный ящик насквозь, к лицевой, обитаемой стороне, где можно будет найти пристань? Контора была явно необитаема, замок, по ржавчине судя, не вчера повешен.

С досадой дернул Зимин за ручку двери — и едва удержал равновесие. Дверь оказалась не заперта, замок декоративно висел лишь на одной дужке, не зацепляя другой.

Затхлый полумрак служебного присутствия встретил его внутри. В небольшом входном холле стоял, как положено, столик для дежурного, однако за ним не сидел никто, не было даже стула. Гардероб за барьером также был пуст, что соответствовало сезону. Лишь на одном крючке висел оставленный кем-то полиэтиленовый пакет с неизвестным содержимым. Перед входом на лестницу висел в деревянной рамке стенд с золочеными буквами: «Доска прика ов»; одна буква выпала. На пустой фанерке оставался единственный лист, верхний угол его был прикрыт приклепленной бумажкой: «Нашедшего ключи на брелок просьба вернуть в профком». Сам приказ, без первой страницы, начинался сразу с шестого пункта:

«6. Считать временно утратившими силу п. п. 4, 16, 25 Приказа о восстановлении внешних связей. При необходимости и в случае конфликтных ситуаций контакты регулируются по усмотрению ответственных лиц в зависимости от обстоятельств.

7. Правила временного допуска, предусмотренные п. п. 12, 15 отменяются до специального распоряжения. Заявки, поданные в письменном виде, рассматриваются по согласованию без ограничения срока.

8. Права спецконтингента подтверждаются в прежнем объеме, за исключением п. п. 13а, 13б, 68-1, 184, предусмотренных Инструкцией для служебного пользования.

9. Непрерывность информационного питания с оперативными уточнениями, предусмотренными программой «Память», временно обеспечивается комиссией того же названия...»

И без того подслеповатый шрифт выцвел от времени, разбирать его в полусумраке было бесполезно, понимания текст не прибавлял. Зимин поискал взглядом что-нибудь более осмысленное. Пожелтевшая афиша, перекосясь на последней кнопке, висела рядом на стене, она приглашала на выставку инсталляций «Оживление мертвого».

Ни одна лампочка не освещала открывавшийся от холла коридор неопределенной длины; темнота, сгущавшаяся вдали, ничего, кроме тупика, там не обещала. Свет проникал лишь в единственное окно посредине лестничной площадки. Зимин, еще не решив направления, поставил ногу на ступеньку — и будто нажал клавишу вздохнувшего инструмента.

Это был именно вздох, органный звук. Он шел откуда-то сверху, но отдавался в гулком пространстве сразу со всех сторон, словно вздоху вторили стены, воздух; надорванный хрип, сипенье испорченных мехов все более проступали в этой музыке. И пока Зимин поднимался на второй этаж, она угасла, замерла.

От лестничной площадки там открывался такой же длинный, сумрачный коридор. Зимин пошел по красно-зеленой ковровой дорожке. Одинаковые простые двери были по обе стороны. На некоторых имелись таблички. «Бухгалтерия», — читал

он по пути. «Бюро заказов». «Народный контроль». «Управление внешних связей». Поначалу Зимин для проверки, вежливо стучал в каждую, потом, не слыша ответа, дергал ручку, толкал. Затем он и стучаться не стал, толкался плечом наобум, чуть не с разгона, как баловник-школьник, ничего не опасаясь, ни на что не рассчитывая. Ни одна не отзывалась, все были заперты.

В конце коридора возникла еще одна лестничная площадка, отсюда можно было подняться выше, на третий этаж. Вот ведь как, значит, этажей здесь имелось больше, чем можно было увидеть снаружи, держась вплотную к стене, а потом так и оказавшись в упор перед невзрачной двухэтажкой. Для этого надо было отойти на достаточное расстояние, если б его там еще хватило. И то вряд ли открылось бы что-то снизу. Тут нужен взгляд с какой-то более высокой, обзорной перспективы, — подумал Зимин. Во всем так, — неясно добавил он про себя...

Над лестничным пролетом вверху встрепенулась, забила крыльями крупная птица — как и ты, попавшая сюда неизвестно откуда и не умевшая найти выход. В полумраке она трепыхалась бесплотной тенью, а когда успокоилась, стала неразличимой в нем.

Зимин огляделся опять. Подниматься выше вряд ли имело смысл. Коридоры от площадки расходились направо и налево; света в обоих не было, но в дальнем конце одного виднелась еще площадка. Лучше туда, решил он. Все лучше, чем возвращаться назад. Позади неизвестности больше, чем впереди — и послышалась же ведь где-то музыка. Пусть наугад — дело обычное. Во всем так, — усмехнулся он снова. Попробуй охватить обобщенным пониманием, с несуществующей высоты всегдашние свои блуждания. Как искал в таком же лабиринте, бывало, проход вместе с сыном...

Почему он вдруг подумал о сыне? Где они так вот бродили? (Бесшумная тень появилась из дальней двери справа, бесшумным шагом удалилась, скрылась за поворотом)... Не мог вспомнить. А ведь искали как-то дорогу, действительно. Двери были похожие, справа и слева. Но мало ли ты таких навидался?.. Таблички попадались все менее понятные, без освещения с трудом удавалось их прочитать. «Операционный зал», — всматриваясь, разбирал Зимин. «Реабилитация». «Автономное обеспечение». «Кабинет имитации». Потом почему-то «Рентген». И совсем уж непонятное: «Блок загрузки»... Ковровой дорожки под ногами больше не было, тускло отблескивал гладкий линолеум. Толкаться подряд в каждую заведомо не имело смысла, но для проверки он иногда пробовал.

Холл в конце коридора был немного просторнее предыдущих, хотя такой же сумрачный. Предметы, валявшиеся на полу в разных местах, вызывали мысль о не до конца разобранный инсталляции. Большие счеты с неполным набором костяшек можно было увидеть здесь, старый железный утюг с открытой пастью, дамский сапожек на высоком каблуке. Из пустого телевизионного футляра, как из окошка, выглядывала голова пустоглазой куклы. На белых высоких постаментах остались еще таблички, обозначающие названия произведений. Зимин не удержался от попутного любопытства. «Лес и поле», — читал он. «Бодалка». «Воспоминание детства». Поискал взглядом, что бы здесь могло прежде стоять. Детский горшок подошел бы, пожалуй. Березовый банный веник лежал рядом с веником из сорго. На небольшом зеле-

ном коврике лежал лист бумаги с крупной надписью «Проект Звездное небо». Зимин поднял его.

«Ляг на эту лужайку, устрями свой взгляд ввысь», — призывал текст. Писатель поднял голову. Под потолком подвешен был большой темно-синий лист со звездными блестками. «Никогда еще не открывалось тебе такой красоты, — продолжил Зимин чтение. — От темных небес веет покоем, долгое их созерцание напоминает о бесконечности. Отдайся этому чувству, проникнись им без сопротивления, вбирай в себя величие мерцающего безмолвия. Слова умолкают: лежи, проникайся»...

Зимин добросовестно примерился. Лечь он не мог. Нет, к этому он, пожалуй, был не готов, а может, попросту не способен. На стене оставалась единственная пустая рама. Картиной, возможно, следовало считать узор облупленной краски внутри нее. Объясняющий листок рядом и впрямь надеялся вдохновить зрителя, на сей раз даже стихами:

«Чем больше ты глядишь на облака,  
Их переменчивые очертанья,  
Тем больше возникает перед взглядом  
Тобой же нарисованных картин».

Знать бы наверняка, — условно согласился Зимин. — А без таланта — куда же тут...

За дверь, выходящей в холл, слышался ему гул равномерно работающей техники. Уже по привычной инерции он дернул ручку. Запахом холодильника и лекарств дохнуло из открывшейся внезапно комнаты. Она была пуста, лишь больничная каталка стояла перед окном, голые ступни торчали из-под клеенки...

Он захлопнул поскорей дверь. Постоял немного, унимая сердцебиение. Что это был за экспонат?.. Заглядывать еще раз он не стал...

Лестница от площадки вела снова вверх и вниз. Слишком уже далеко забрался, — почувствовал Зимин. — Поворачивать назад незачем. Единственный способ вернуться — идти дальше, пока есть куда. А вверх больше не подниматься. Глядишь, откроется там еще и четвертый этаж — зачем, сколько можно? Силы надо рассчитывать. Пора спускаться.

Еще одна дверь выходила в холл, прямо против лестницы, крупней прежних, вида скорей парадного. Обломок стеклянной таблички держался на ней: «альный зал». Поколебавшись, Зимин все же решил напоследок проверить. Фигурная бронзовая рукоятка поддавалась легко, дверь стала открываться без скрипа...

После коридорной тесноты и сумрака помещение показалось особенно большим. Свет лился из высоких матовых стекол на потолке. Запах сырой известки и краски говорил о совершавшемся здесь ремонте. Стену против входа украшала прежде монументальная, видимо, роспись, но она была соскоблена почти до штукатурки, а местами уже подмалевана. Угадывались лишь остаточные очертания крупных фигур...

Лишь в следующий момент взгляд Зимина воспринял под этими фигурами настоящих людей. Трое мужчин и женщина, сидевшие внизу за столом, показались не-

соразмерно уменьшенными, точно куклы у ног громадных актеров. Стол под красной скатертью уставлен был как бы игрушечной посудой. Все четверо смотрели на вошедшего, остановив возле рта кто вилку с подхваченным куском еды, кто зеленую травку лука.

— Виноват, — проговорил Зимин, запоздало опомнившись, но не соразмерив звучания своего голоса. Казалось, что в таком помещении его издали могли не услышать, однако неожиданная акустика усилила голос чуть не до крика. Под грубо сколоченным помостом в углу стояли ведра в потеках краски, малярные кисти. Люди за столом имели вид здешних рабочих. — Извините, — повторил он сдержанней, — я просто хотел узнать...

— Смотри, приехал! — шумно поднялся сидевший во главе стола скуластый с черными усиками и толкнул в плечо соседа слева. — Говорила же Сана! А ты не верил.

Все остальные тоже с шумом поднялись, словно считая долгом приветствовать вошедшего. Крайний пошатнулся, вставая, ему пришлось для равновесия опереться о стол ладонью единственной руки — другой у него не было.

— Я хотел... извините... тут... насчет похорон, — попробовал все же пояснить Зимин.

— С похоронами — не сомневайтесь. Шито-крыто, и землей засыпано. Кому надо, те поспешили. Сейчас тоже, небось, выпивают, довольные. Думали, уже все. А вы — к нам. Мы уже и не надеялись. А? Сана, встречай, это же он. Видишь? Он!

Неужели в самом деле попал? — неопределенно, с какой-то усталой обреченностью подумал Зимин. Хотя имени его здесь не прозвучало, сомневаться не приходилось. Тут, значит, уже поминки. Они, пожалуй, не маляры, краской во всяком случае не запачканы. Женщина, пошедшая навстречу, была в длинном коричневом платье; того же цвета косынка на голове вызвала мысль то ли о монашеском одеянии, то ли о подобии униформы.

— Раздевайтесь, — сказала она с тихой улыбкой, потупя взгляд, и приняла от Зимина сначала сумку, затем куртку.

— Я, видимо, опоздал? — сказал тот вопросительно. — Но катер пришел только что... возможно, из-за тумана...

— Туман — это само собой, — махнул рукой черноусый, бывший тут, видно, за старшего. — Они и без тумана поспешили пораньше. Чтоб шито-крыто. Как будто, прямо же, чувствовали, что вы приедете.

— Интересно, — сказал Зимин. — Кто же меня тогда приглашал? И зачем?

— В каком смысле? — улыбка сменилась на лице черноусого выражением тревожной растерянности.

— Мне кто-то ведь телеграмму прислал.

— А! — понял тот. — Телеграмму — это она. — Он показал на женщину. — Нашелся один клиент, взял по пути отправить, со станции. Уверенности, конечно, не было. Неизвестно ведь, кому доверяешь. Но Сана сказала, если до вас дойдет, вы все поймете, как надо, и решите правильно. Она молодец. А некоторые, — глянул он на однорукого, — сомневались.

Тоже верно, — мысленно согласился Зимин. — Как я понял, так понял. Приглашения ведь и не было, сам решил. Своим умом. Если умом. Решил поехать и поехал. Оставалось лишь вписываться в изгибы пути. Всего только.

— Никто меня даже не встретил, — не удержался все же он от упрека. Чтоб не считали себя совсем не виноватыми. — Мог бы вас не найти.

— Как бы вы не нашли! — расплылся в улыбке скуластый. — Это же вы! А у пристани вас бы перехватить могли, как пить дать!..

Однорукий пихнул его под локоть и показал взглядом на потолок. Поосторожней говори, — означал этот взгляд. Ого, здесь у них какие-то внутренние отношения, — понял Зимин. — Еще мне этого не хватало! За кого они меня принимают? Зачем ждали? Бесполезно вникать, и незачем. Похороны, стало быть, позади, чего еще? Остается лишь поддержать бессмысленную инерцию, чтобы тем же ходом вернуться к себе. С другой, так сказать, стороны...

— Вас зовут Сана? — посмотрел он на женщину. Цвет лица у нее был несвежий. Край губы припух от начинавшейся лихорадки.

— Ага! — отозвался за нее черноусый, явно радуясь, что Зимин больше не высказывает недовольства. — Это у нас имя такое, бабайское. Я сам бабай! — захохотал он, открывая стальные зубы — заметно уже на взводе. — Меня тут так и зовут: Бабай. Да вы садитесь... нет, сюда, пожалуйста, — он уже освобождал для приезжего свое место. — Во главе, так сказать, стола.

— Я лучше сяду здесь, напротив, — сказал Зимин.

— Ну, все равно во главе, — охотно согласился Бабай. — Сана, давай туда стул, тарелочку. И мы к вам поближе.

Все стали перемещаться к другому торцу. Зимин уже пожалел о своей неуступчивости. Стол был непомерно большой. Место оказалось на самом деле неудобное; какая-то, видно, тумба, до пола закрытая скатертью, не позволяла поместить под него ноги. Сама красная скатерть имела вид скорей служебный — таким сукном покрывали когда-то столы на торжественных заседаниях. Бабай пристроился от Зимина справа. Он был в приличном, хотя и ношеном пиджаке, клетчатой рубашке. Двое других имели вид совсем мятый, вызывая мысль о инвалидной или, скорей, похоронной команде. У однорукого, сидевшего рядом с Саной, слева от Зимина, пустой рукав засунут был в карман пиджака. Лицо второго было обожжено, часть губы выглядела пузырчатым куском мяса.

Бабай уже, не спрашивая, наливал Зимину в граненую стопочку неизвестный, цвета чая, напиток из графина. Угощение на столе выглядело смешанным: неожиданные маслины были здесь, орешки, но и вареная картошка остывала в большой миске, соленые огурцы лежали на тарелке, редиска, перышки лука.

— Извините, конечно, за угощение, — растолковал взгляд гостя Бабай. — Деликатесы не наши, это она принесла. И водочку не нашу, какую-то особенную. А я ему говорил, — показал он на однорукого, — что надо бы раков наловить. На случай, специально, вдруг вы приедете. Но он сказал: раков не надо.

— Причем тут я? — насторожился Зимин. — Почему для меня раки?

— Но вы про них вроде писали, — неуверенно пояснил Бабай.

— А вы что, читали меня?

— Нет, мы не читали. Ей командир наш рассказывал, — Бабай слегка утерл уверенность. Странно было, что он все время ссылается на эту тихую женщину. — Ты говорила, правильно? У вас, в смысле, к ним какой-то особый вкус. Вы их как-то необыкновенно описываете.

— Нельзя варить живых, — с непонятной мрачностью посмотрел на Зимина однорукий, ожидая скорей возражения, чем поддержки.

— Да знаю я твои бзики, знаю, — отмахнулся Бабай. — Он, видите, жизнь не разрешает давать в обиду, — пояснил гостю. — И раков понимает, может, не как вы, в простом смысле. Не обращайтесь внимания. А у нас их знаете, как ловят? На лягушку приманивают, вы не пробовали? Ей только надо шкурку, то есть, кожицу на спине разрезать и на голову завернуть. Чтобы закрывала глаза. А то раки в сетку к ней не полезут, они глаз боятся.

— Живые должны глаз бояться, — еще мрачней насупился однорукий.

— Да ладно тебе, я же сказал, никто ни на кого тут не покушается. Вот, травка тебе на столе, как ты любишь... Да что мы все не про то. Мы еще тост не выпили.

Зимин увидел, что все выжидательно уставились на него. Очевидно, ему, приезжему, не успевшему еще даже выяснить, что здесь все-таки произошло, полагалось произнести действительно важное слово. На него смотрели, как на особого, непростого человека, и, хочешь ты здесь что-то понять, не хочешь — для начала надо сравняться с их состоянием, с общей температурой. Привести себя, так сказать, в соответствие. Знать бы заранее, как подействует выпивка натошак, да после такой ночи. Однако уклониться от этих взглядов возможности не было.

Он встал со стопкой в руке. Все шумно поднялись вслед. Однорукий, опираясь на стол, при этом опрокинул свою рюмку — Бабай тотчас поднял ее и долил.

— Что я могу сказать? — неуверенно начал писатель, еще не представляя продолжения. — Человека больше нет с нами. Близкие, как я понимаю, люди горюют. Даже, может, потрясены. И при этом — вот, — показал он свободной рукой, — жуют, пьют, даже начинают смеяться. Не нами заведено. Нам этого, может, по-настоящему теперь не понять. И нужно ли? Тем более такому, как я. Для которого человека, можно сказать, прежде не существовало. Я ведь потому и приехал, что его больше нет, — сказал он и почувствовал, что выразился неудачно. — Будь он жив, я бы, может, сюда не приехал, — немногим более удачно поправился он. — Значит ли это, что теперь будет не существовать тем более? Вот что нам предстоит осмыслить. Потому что теперь это существование зависит от нас. Недаром ведь, когда человек уходит, нам, оставшимся, говорят: он приказал долго жить.

Что-то я не то... не туда понесло, — с некоторым испугом оценил сам себя Зимин. Он приподнял рюмку повыше, поясняя, что слово произнесено. Молчание установилось на миг непонятное. Но всего только на миг.

— А? — восхищенно встряхнул головой Бабай. — Умеет же человек выразить!

— Что значит приказал? — все еще мрачно супясь, будто заранее настроясь сопротивляться, спросил однорукий. — Зачем? Можешь мне объяснить?

— Что значит зачем? — посмотрел на него Бабай.

— Зачем приказал жить? Для чего? В каком смысле?

— Приказы не обсуждаются! — прикрикнул Бабай. — Зачем, не зачем! Потому что другие за нас умирают. Чтобы, которые остаются, жить больше хотели. А зачем, нас не спрашивают.

— Ну, если чтоб не зря умирать, — с усилием согласовал что-то в своем уме однорукий. И, как бы приняв, наконец, тост, первым выпил, точнее сказать: опрокинул в рот жидкость. Бабай опрокинул тоже, крякнул, занюхал черной горбушкой. Лишь обожженный едва пригубил из своей рюмки. Зимин, поглядев на него, задержался, потом сделал осторожный глоток, для пробы. Но, ощутив на себе выжидательные взгляды, все-таки выпил до дна.

Уважительный вздох был откликом. Все шумно стали рассаживаться.

— Я, честно сказать, смотрю и не верю, что вижу настоящего писателя, — помотал головой Бабай, доливая Зимину из графина и чокаясь с еще стоявшей на столе стопкой. Хруст зеленого лука на стальных зубах был каким-то неживым. Зимин смотрел между тем на обожженного. Тот не произнес до сих пор ни слова, о выражении его лица, как и о самих чертах, было невозможно судить. Но простой огурец он разделявал на тарелке, деликатно действуя ножом и вилкой. — Мне один говорил, по-военному писатель — все равно что полковник, так ведь?

— Раньше были такие, что генералы им должны были козырять, — поправил его понимание однорукий.

— Раньше само собой! — не стал спорить черноусый. — Раньше порядок был во всем установленный, определенный, не то что теперь. Знали, в какую сторону идти, кто командует. То есть одни давали команду, а другие обеспечивали насчет идей. Чтоб смысл люди чувствовали: сюда надо, так правильно. Это теперь все в разброде...

Зимин пока еще прислушивался к действию выпитого. Надо было спросить, что это у них в графинчике. Напиток был крепкий и на удивление тонкий, от него во рту остался приятный вкус. Ни с каким пониманием он сравняться пока не помог, — оценил писатель. — Неспособность опьянеть — состояние отчасти внутреннее. Не можешь, значит, погрузиться. Или, наоборот, всплыть на поверхность. Считаю, держись. Эти инвалиды, похоже, и до выпивки были готовы...

— Ты только подумай, ведь в этом какая власть! — продолжал Бабай. — Когда человек может любого до винтика разобрать и все на место определить. Лучше, чем ты сам знаешь. Тебя, может, уже в природе нет, а у него, посмотришь — вот ты. Правильно я понимаю?..

Зимин смотрел на фреску перед собой, только теперь осознавая, что ради нее и захотел сесть напротив. Что-то в ней ему еще от входа почудилось. Хотя разглядывать оказалось на самом деле нечего. Старые фигуры почти до прозрачности были соскоблены, местами забелены свежей штукатуркой, местами заляпаны посторонними брызгами, новые очертания лишь намечены. Протертые полосы в разных местах выглядели скелетами белых деревьев, прораставших сквозь полупрозрачные тела, на самих телах проявлялись высветленные ребра. Случайные пятна бурой краски производили кое-где впечатление неприятно разлагающегося мяса. У мужчины с вывалившимся из живота внутренностями можно было различить отбойный молоток на плече. Рядом мальчик трубил в горн с вымпелом, к вымпелу прилипло членистое насекомое. Женщина склонилась над чем-то, уже не видимым, сама она до пояса была

закрыта зарослями белесых подтеков. Еще одна, с отсутствующей головой, протягивала куда-то к центру маленького ребенка, но там, в этом центре, оставалось лишь выскобленное пятно.

— Тут вопрос в том, что считать жизнью и что нашим знанием, — постарался Зимин ответить уклончиво, но в тон. — То, что мы знаем, это, глядишь, оказывается не жизнь. А жизнь — как раз то, чего мы не знаем.

— Это конечно, — неожиданно согласился Бабай. — Бумаги от жизни отличаются, еще бы! Если б кто мог посмотреть все ихние отчеты и докладные...

Однорукий пихнул его в бок и снова остерегающе показал пальцем наверх.

— Да я ничего такого, — осекся Бабай. — Я понимаю. Это не здесь и не сейчас... Выпьем, братцы, за родственную душу. Ведь родственная душа, слышите? Даже голос похож. Я, как у двери увидел, сразу узнал: он!

И поднял свою рюмку, чтобы чокнуться.

Нет, дальше, пожалуй, стоп. Лучше не втягиваться, — уже ощутил Зимин. — Чего они от меня хотят, чего ждут?

— Мы, видите ли, не родственники, — счел нужным поправить он. — Просто однофамильцы.

— Это не всегда можно сказать, — возразил Бабай. — А поглядишь: в самом деле, как братья.

— Мы тоже хоронили как-то одного, — оживился однорукий. — Помнишь? Потом на поминках вот так же смотрим: а он сидит. Как ни в чем не бывало. Оказалось: родной близнец приехал.

— Близнецы бывают не то что на лицо похожи — даже на жизнь. Я в одной газете читал. Привычки одинаковые, болезни. Даже умирают одинаково.

(Близнецы с разницей в поколение, — неопределенно подумал Зимин. Но вслух высказывать этого не стал).

— У вас фотографии нет? — спросил он.

— А как же! Как раз увеличить собирались, еще не успели. Вот. — Он достал из внутреннего нагрудного кармана конверт. — Для вас, само собой, сделаем копию.

В конверте оказался маленький негативный кадр пленки. Зимин вынул его двумя пальцами за ребра, посмотрел на просвет, пытаясь перевести навыворот крошечные белые надбровья, зрачки, волосы, черную кожу лба и щек.

— Да, — проговорил неопределенно. — Документ... А как вы его звали? — сумел сформулировать он необходимый все же вопрос. Выдавать, что ты не знаешь даже имени своего однофамильца, только инициал, было неловко.

— Мы? — переспросил Бабай. — Мы его звали: командир, я вроде сказал. Мы же однополчане. Кроме Саны, конечно. А ты, Сана, его как звала?

Женщина потупилась, покраснев. Мужчины довольно захохотали. Зимин тоже улыбнулся, со странным удовлетворением чувствуя, что без этой малой определенности на самом деле предпочитал обойтись; она могла бы лишь обособить, отдалить от него человека, с которым начинал ощущать неясную общность.

— Что все-таки с ним случилось? — проговорил он не то чтобы вопросительно, а как бы про себя — и лишь тут осознал, что получилось неосторожно, вслух. В сло-

вах прозвучало, видно, что-то непозволительное. Однорукий засопел угрожающе, Бабай почему-то переглянулся с ним.

— Вы тоже думаете, что случилось? — сказал Бабай. — Вам от себя, конечно, видней. Раз вы так выражаетесь. Только не слушайте, если кто вам уже наговорил. Медицинские шифры мы сами знаем. Несчастный случай под пятым номером, сердечная недостаточность, выполнение добровольного долга. Это у них заранее распланировано. Думают, кому знать не положено, тот не узнает. Нас к гробу ведь не подпустили, посмотреть, попрощаться не дали. Разве он мог так просто, сам? Тем более, когда знал, что вы приедете? Они же именно испугались, это такая мафия...

Зимин неожиданно для себя поднял к потолку предостерегающий палец. Было чувство, что он вовремя ликвидировал опасность, которую сам чуть не вызвал автоматическим, неосторожным вопросом. Не хватало тебе еще вмешиваться в неизвестные здешние разборки, безумные отношения, — подумал про себя он. — Как будто для этого ехал. Любой вопрос может в их глазах только уронить, если не хуже. А жест пальцем в потолок явно прибавляет значительности. Смотрят на меня, словно кем-то считают, чуть ли не всезнающим, всемогущим, чего-то ждут, на что-то надеются. И чем меньше я стану выяснять, тем сильнее непонятная надежда будет подогреваться.

— Это да... это само собой, — покорно кивнул Бабай. — Не здесь, конечно, я понимаю. Техника-то теперь я знаю, какая. Вслух мысли не подумаешь, не то что слова не скажешь. Хотя сегодня, наверно, они отключились. Его теперь нет — чего им подключаться? Был бы он, нас бы даже сюда не допускали. А теперь — все. Разворачивают, вон, видите, перестройку. Про вас-то они не догадались. Думали, шито-крыто и землей засыпано.

— И написать будет некому, — мрачно сказал однорукий...

Тихий плач, похожий на стон, заставил всех оглянуться. Слезы на лице обожженного проступили словно не из глаз, а из пузырчатых уродливых пор. Подняв перед собой правую руку, он протяжно запричитал, обращаясь на непонятном языке к Зимину, однако, не закончив, поник головой.

— Ах ты, мать моя, как вы на него подействовали! — Бабай с шумом отодвинул стул и поспешил к плачущему. — Нервы интеллигентские! Он ведь не пил совсем, вы же видели. Да и мы не особенно, нам тоже пока нельзя. Тем более еще на службу. Сегодня такой день. Ведь правда? — почему-то спросил он подтверждения у Зимина. — Ну, пошли пока, старшина, успокойся. Пошли, хватит... Коля, помоги с другой стороны.

Обожженный плакал уже беззвучно, сникнув совсем на руках товарищей.

— Он думает, вы за брата не будете мстить, — обернулся к Зимину однорукий. — Да перестань ты! Писатель приехал, значит, говорит, разберемся. Ведь правда? Скажите ему?

Бабай тоже оглянулся на Зимина, ожидая ответа.

— Разберемся, — вынужденно кивнул тот. Припадочный сверх ожиданий замолк.

— Вот, видите? — радостно осклабился Бабай. — Вы нас пока извините. Я за вами потом приду, отведу на место, расскажу всю обстановку, как понимаю. Они ду-

мают, нас можно просто использовать, без объяснений... Сана, ключи у тебя? Позаботься, ты одна тут знаешь... Да, — спохватился он, оставляя напарнику обмякшего однополчанина, — чтоб не забыть. У нас в знак похорон полагается сувенир. Я на всякий случай для вас... если, думал, приедете. Вот... как почетному, считайте, однополчанину...

Он извлек из глубин брючного кармана что-то вроде спичечного коробка, завернутого в газетную бумажку. Земли, должно быть, с могилы насыпал, — подумал Зимин. Он постоял, опустив голову, не глядя больше на удаляющихся к двери инвалидов. Можно ли было понять, что же значит эта чувство не вполне ясной, но словно все сгущающейся угрозы, и что делать теперь?..

— Да, — вспомнил он. — Когда отсюда катер?

— Катер? — непонимающе вскинула брови Сана. — Вы спрашиваете, сегодня? Вы разве не будете смотреть его работу?

— А... конечно, — вынужден был признать тот. Не ожидал, насколько она в курсе дела. Посмотреть было действительно надо. Ведь не более того. Да, и про книгу еще, конечно, спросить. Для чего ехал? — Это конечно, — подтвердил он.

Женщина, стоя у стены, сунула ключ прямо куда-то в деревянную панель — в ней оказалась прорезана незаметная на поверхностный взгляд дверь без ручки. Она открылась внутрь от простого нажатия.

## 5

Дохнуло неожиданным воздухом затхлого прокуренного жилья. После просторного зала комната, в которую они попали, казалась почти каморкой, правда, с несоразмерной высоты потолком. Задрав голову, можно было разглядеть под ним тень густой паутины; запахи загустели внизу. У стены справа стоял продавленный диван, застеленный клетчатым пледом, над ним книжная полка. В углу под окном кучей свалены были картонные коробки, разрозненные книги, подушка без наволочки, табуретка без ножки. Неожиданным среди этогохлама выглядел компьютер, разные части которого занимали весь письменный стол. Да еще внушительных размеров коричневый сейф у самого входа. Вместительный, — оценил с невольным интересом Зимин. Пока он оглядывался, женщина уже открыла для проветривания окно и стала быстренько прибирать со стола на поднос пепельницу, еще полную окурков, накопившиеся чашки с блюдцами, кофейник.

— Он что, здесь жил или работал? — спросил Зимин, подходя к книжной полке.

— Работал, конечно, — ответила она, отчего-то вспыхнув. И спешно поставила поднос на стол, как будто для ответа ей нужны были свободные руки. — То есть жил тоже, — поправилась тут же она...

«Приближения» на полке не оказалось. Стояли какие-то специальные издания, справочники, книги с иностранными названиями. Снял с полки одну: на красочной обложке изображен был механический человек с широкоствольным орудием убийства в руках. Интеллектуал, — подтвердил для себя писатель. Сана смотрела на него,

ожидая дальнейшего вопроса, но, как будто смутившись, что выразилась непонятно, сочла нужным пояснить:

— Он говорил, что здесь только и живет. Когда работает. Я до сих пор даже прибраться здесь не решалась...

Зимин вернул книгу на полку. Это мы сами знаем, подумал он. Когда жизнь годами вытесняется, подменяется работой. А потом и от работы остается то же, что от тебя... Спросить у женщины про свою книгу он все еще медлил. Невозможно было пояснить, что ты сам ее никогда не видел, у тебя даже нет экземпляра, ты ехал сюда, чтобы удостовериться в ее существовании. Любопытство без повода выглядело бы тщеславием, тем более в таких обстоятельствах... За сейфом в угол была задвинута инвалидная коляска, от двери не замеченная. Вот оно как... еще и это. Еще и коляске надо определить место в умственных догадках.

— Коляска его? — спросил он для надежности.

— Да, — с готовностью кивнула Сана. — Он говорил: скоро от меня останутся только мозги, — добавила она, помолчав. — Мозги, пальцы и эта вот коляска.

Оставалась лишь уточнить, безногий он был или просто парализованный. Но стоило ли? Без фотографии же обошлось. Правильнее без этого. Часть тела перестала существовать раньше всего остального. Неизвестно, какие подробности проявятся, если вздумаешь их вытаскивать, станут цепляться одна за другую, заполнять пустоту ничего уже не значащими очертаниями, разрастаться, расползаться, потребуют выяснять что-то дальше — лишь добавляя при этом непонимания, недоумения, ведь заранее знаешь. Да еще зацепит какая-нибудь тебя в самом деле — и с головой затянет. Понесет невесть куда, закрутит, закувыркает, и не за что станет держаться, будешь барахтаться безвольно, беспомощно, с разинутым ртом. Нет, поддаваться нельзя, с каким бы ожиданием на тебя ни смотрела эта неясная женщина. Вон сколько там этих материалов в сейфе...

— Вы наших разговоров не слушайте, — Сана словно вдруг догадалась о чем-то. — Мы тут мало что понимаем, каждый по-своему, а знать-то ничего сами не можем. Нам здесь и не положено. Теперь вы сами приехали, во всем разберетесь... Знали б вы только, какое счастье вас видеть... Я даже не думала...

И, сделав вдруг порывистый шаг, опустилась к руке Зимина, взяла ее, поцеловала.

— Да что вы! — опешил тот и отдернул руку. — Что вы, в самом деле? Встаньте.

— Извините, — забормотала она, суетливо нащупывая позади себя поднос. — Это я так... вы не думайте. Такая на вас надежда. Я сейчас все унесу. Вы включите сами?

— Что? — не понял Зимин.

— Это, — показала она на компьютер. — Я включать тоже умею, он немного меня учил. Можно?

Снова поставила поднос на стол, тронула выключатель. Замигали огоньки зеленые, красные, в пробуждающемся теле пискнуло, заурчало. Сана улыбалась с гордостью человека, сумевшего оказаться полезной — и кому!

— Работайте, — окончательно заторопилась она. — Тут, за дверью, если понадобится, умывальник... ну, и все, что вам надо... За этой, — уточнила она, увидев, что

Зимин смотрит на другую дверь. — Там разное оборудование... студия, как он это называл. Но у меня от нее ключа нет. Вам ведь не нужно?

Зимин отрицательно покачал головой.

— А в случае чего — вот у двери звонок. У меня до смены еще есть время. Пепельница вот. Кофе я принесу. Он кофе потреблял жутко много. Кофе и сигареты. Вы с сахаром любите или без?

Прижимая одной рукой поднос ребром к животу, она другой уже неловко открыла позади себя дверь — но все еще медлила, еще надеялась на вопрос, на возможное продолжение. Вот к чему Зимин сейчас меньше всего был готов.

— Все равно, — ответил он.

Дверь захлопнулась на пружине.

Да... Этого он действительно не ожидал. Каких-то бумаг из металлического объемистого ящика, оставшихся рукописей. (Про свое «Приближение» он так и постеснялся спросить). Но компьютер! Лишь теперь, с задержкой, дошла до Зимина нелепость его положения. Невозможно же было сказать восхищенной девочке, что он обращаться с этой техникой не умел. Не то что для секретарш в учреждении — для детей в школе она уже стала привычной, немолодые коллеги, он знал, один за другим обзаводились приспособлениями, облегчающими работу; он предпочитал говорить сам себе о приверженности консервативным привычкам, о нежелании терять задумчивую, интимную связь с пером, движущимся по бумаге. Ну, и тому подобное. Не хотелось до конца договаривать, что игрушка была ему просто не по карману. Да теперь, видимо, и ни к чему...

И тут же словно что-то соединилось в мозгу — высветилось воспоминание, которое он пытался и не мог зацепить, блуждая время назад по коридорному лабиринту. Нет, это ему не привиделось. По таким коридорам учил его продвигаться вместе с собой сын, показывая компьютерную игру.

После развода они виделись с Павликом все реже. Бывшая жена не поощряла встреч, методично Зимина отдаляя от сына. В тот раз вид нескладно разросшегося, крупного мальчика с волосками, уже проступавшими на подбородке вызвал у него щемящее, похожее на испуг чувство: к такой быстрой, трогательной перемене он не был готов. И до чего же глупо выглядел принесенный им в подарок электрический конструктор — неисполненная мечта собственного детства! Павлик вежливо держал коробку двумя руками, не проявляя желаний ее раскрыть, односложно, наклоня к плечу голову, отвечал на вопросы — пока Алин многозначительным взглядом не поощрила его отвести отца в свою комнату, показать другую, настоящую игру. Мальчик принялся вначале без охоты, но добросовестно объяснять ему, какие для чего нажимать клавиши, как двигать по столешнице штуковину, называемую «мышкой», какие и где искать подсказки, чтобы перебираться с ловким, хитроумным, жизнеподобным героем от задачи к задаче, от приключения к приключению, из диковинной страны в еще более диковинную, через коридоры, туннели, зеркала, встречи и борьбу с непредсказуемыми, переменчивыми существами, а там уже и с техническими устройствами, где начинались задачки все многосложней, все изощренней. Зимин восхищался небрежной легкостью, с какой это проделывал Павлик, чувствуя в то же время, что тот отчасти томится необходимостью продемонстрировать неумелому

взрослому такие элементарные, для него уже скучноватые вещи; через слишком очевидные эпизоды он перескакивал без объяснений. Против ожидания Зимин в какой-то момент даже увлекся азартом поиска, пусть не совсем понятного, он рад был изображать преувеличенный интерес, лишь бы подыграть сыну — как давал ему, бывало, продемонстрировать свою силу, когда они боролись и тот мог уложить отца на лопатки, или когда вез на санках его, тяжелого взрослого человека; маленькое тельце его напрягалось, мягкие волосики взмокали под шапкой, ты незаметно помогал ему движением ног, а потом валился с ним вместе в свежий пуховый снег, нежность и счастье были вашими общими... Вот и теперь больше всего хотелось потрогать отросшие на загривке трогательные косички, незаметно, чтобы не помешать. Игра постепенно становилась совсем непонятной, правила ее, похоже, видоизменялись, как изменялся сам герой; невозможно было понять смысл его непоследовательных действий, а то и приступы внезапной жестокости. Оскаленное лицо иногда становилось звероподобным — и он ли был элегантным красавцем, который сидел с белокурой девушкой за роскошным столом среди цветущего сада?.. Павлик объяснять уже перестал и без объяснения же вдруг оборвал игру. Так захлопывает подросток книгу, не желая, чтобы родители заглянули в картинку, которую ему рассматривать не позволяли... Что же там было дальше?..

Он помнил, как ощутил вдруг что-то вроде взрослой беспомощности перед этим мальчиком. Они прощались в прихожей, и вид у него, наверно, был не просто растерянный — потерянный. Алин смотрела на него снисходительно, медленное движение языка по зубам отзывалось на ее накрашенных губах переменчивой усмешкой. Лицо было нарисовано заново, даже глаза не вызвали никаких воспоминаний, только умственные. Она могла утверждать, что когда-то в угоду его вкусам отказалась от привычной прежде косметики — сам он этого вовсе не требовал, но ему просто казалось, что по-настоящему она хорошеет от его взгляда, краска ее лишь закрывала. Она отказалась даже от имени на французский лад, которое до замужества нравилось ей больше любых производных от паспортной Александры, согласилась на русскую Алину. Несовременность его вкусов она приняла за своеобразие, сопутствующее таланту, и по-женски, искренне сумела на время приноровиться даже к удручающей старомодности. Вряд ли стоило теперь говорить об ошибке, притворстве или самообмане — все вместе, может, и входило в состав, называемый любовью. Ужасней всего была теперь невозможность восстановить даже в памяти, во внутреннем чувстве то, что ушло из жизни вместе с уходом жены. Подорвана была уверенность в себе, в подлинности прежнего самоощущения, в том, что делало эту жизнь жизнью... Толстое плечо мальчика тихонько и неумолимо высвобождалось из-под ласковой, безвозвратно почужевшей, посторонней отцовской руки. Со скучающим, вежливым нетерпением дожидался он возможности вернуться опять в свою комнату, затененную шторами, в другой, настоящий мир, подключиться к его загадкам, правилам, представлениям и соблазнам, и не тебе было его удержать, ты уже вот сейчас отделялся, переставал существовать для него...

Зимин встряхнул головой. На невостребованном экране светился переливчатый пестрый узор: декоративная заставка без объясняющих надписей. Подошел поближе, наклонился, вглядываясь. (Стула, чтобы сесть, возле стола не имелось). Узор со-

ставлен был на самом деле из мелких фигур, значков, букв. Что-то ему это напомнило... Зимин тут же удивился, что не сразу вспомнил: клеенку, описанную в «Приближении». Та виделась ему, конечно, совсем иной, более красочной, и фигурки представлялись живописней, фантастичней — как фантастичней, впрочем, любое словесное описание по сравнению с такими вот примитивными человечками, животными. Прозрачные улитки с клювиками медленно ползли или, скорей, плыли, как инфузории, по экрану в разные стороны... и раки!.. вот же отделился от общей неразборчивой массы рак, которого можно было бы назвать довольно реалистичным, если считать реалистичным красный цвет, не мешавший даже вареному двигать клешнями. Серый, понятно, выглядел бы не так живописно. Математические формулы попадались ему на пути, слова и целые фразы на неизвестно каком языке. Почему-то и здесь непонятном. Губошлеп у Зимина не зря ощущал то и дело свою безъязыкость — то небольшое, что он когда-то учил, рассосалось, выветрилось, неостребованное в жизни. Когда так отгорожен от мира, довольствуешься одним, своим языком. Он, что ли, хотел проиллюстрировать меня? — подумал Зимин. — Если это имело отношение ко мне. И, может, ничего больше. Что было делать с этой картинкой?

Смутно припоминая, как это показывал сын, он нажал большую, изогнутую прямым углом клавишу — продолжения не последовало. Понажимал клавиши со стрелками вверх, вниз, в стороны — результат был тот же. Пробовать наугад все прочие он все-таки остерегся — можно было не просто испортить неизвестно что, но выставить совсем уж напоказ свое дикарское неумение. Честней было сразу признаться.

Что ж, все разрешалось даже смехотворней, чем можно было вообразить. Как чаще всего и бывает, когда ждешь, сам не зная чего, настраиваешься, перебираешь неизвестно какие мысленные возможности. Осуществляется же совсем не то. И приходится считать реальностью именно то, что осуществилось — другая тебе недоступна. Как и то, что затаилось внутри этих ящичков. Почему даже мысли о компьютере не возникло? Письмо было написано от руки... да, помнится, от руки. (Перестаешь уже доверять собственной памяти). А мог бы, наверное, напечатать, среди этой техники на столе должно иметься соответствующее приспособление... Ладно, может, и к лучшему, — подумал Зимин. Сейчас эта женщина принесет кофе, надо приготовиться к конфузу. Все равно уезжать. Или проще бы улизнуть без разговоров? О «Приближении» она, скорей всего, ничего не сможет сказать, да и тем более стыдно теперь будет об этом спрашивать. Знать бы наверняка выход, дорогу к настоящей пристани...

Он разогнулся, потирая поясницу, она была утомлена неудобной позой. Нужда заставила вспомнить о существовании туалета. По обе стороны от унитаза здесь было пристроено что-то вроде кустарной конструкции с поручнями. Действительно, для безногого, — примерившись, подтвердил догадку Зимин. Чтобы пересаживаться с коляски, отжимаясь на руках. Вафельное полотенце возле умывальника снабжено было черным казенным штампом «Комбинат». Вместительное слово, — оценил писатель. Подсоединяй к нему, что подвернется — очертания не станут отчетливей. На туалетной полочке нашлось лишь тусклое карманное зеркальце — другого не было. Зимин увидел в нем край щеки, заросшей густой суточной щетиной. Щетина была

седой. Не зря этот сторож назвал меня папашей, — усмехнулся он. — Надо будет побриться, пока есть время.

Он вернулся в комнату, попробовал еще одну, запертую дверь. Подошел к окну, по пути отодвинув ногой кучу пустых коробок. Высокая безглазая стена напротив загоразживала свет. Перегнувшись, выглянул вниз. В глухом внутреннем дворике громзились кучей свежеструганные, нарезанные неровными трапециями доски; нетрудно было составить из них в уме готовое изделие. Не так уж отсюда высоко, — примерил зачем-то Зимин. Не разобьешься...

Кофе все еще не приносили. Никак не закипает, должно быть. Стоило все-таки посидеть хоть для вида перед компьютером, изобразить к моменту ее прихода завершенную как будто работу. Как будто первоначальная заставка просто вернулась на место. А там, глядишь, удастся найти уклончивые слова. Лучше всего бы помалкивать глубокомысленно, как удавалось иногда до сих пор, выслушивать, что она станет говорить, кивать понимающе или с сомнением пожимать плечами. Можно вывернуться. Лишь бы уйти отсюда по возможности пристойно, не разочаровав совсем уж до неприличия ожиданий, которые тебе все равно неизвестны, вот ведь в чем дело. Стыд, что говорить. Ну, да ладно. Если бы еще хоть как-то сдвинуть, заменить картинку — чем-нибудь, для видимости. Этой Сане тоже не обязательно разбираться.

Ни одного стула в комнате не было, женщина не догадалась принести из соседнего зала. Не пришло в голову. До сих пор, надо понимать, хватало каталки. Зимин пододвинул ее к столу, закрепил на колесе тормоз, пристроился, привыкая к чужеродному ощущению. Старое байковое одеяльце, сложенное на сиденье, еще хранило вмятину от чужого тела и прохладу его пота. Поколебавшись, Зимин решил его не убирать. Какой-то неудобный выступ мешал под коленями, но сидеть было можно.

Красный маленький рак продолжал странствовать по экрану. Приглядевшись, Зимин обнаружил, что изображения и знаки, через которые он прокладывал свой путь, исчезали, а позади него появлялись уже другие. Они словно выдавливались из тела первоначально вместе с желтоватыми пятнами, потом освобождались от них. Икру это, наверно, изображает, — всмотрелся еще поближе писатель. И чуть не вздрогнул от неожиданности, увидев, как из пятна выпросталось слово: ZIMIN.

Что это значит? Что с этим можно делать? — поискал он взглядом подсказку. Сын что-то похожее ведь показывал. Где у них эта «мышка»?.. ну вот ведь, засунута оказалась за ящик. Попалась бы на глаза сразу...

Он взял ее в руку, двинул по столешнице. На экране, и верно, заерзала стрелочка. Надо же, и не догадался прежде, не вспомнил. Ткнул стрелочкой в свою фамилию, нажал левую клавишу...

В первый момент ему показалось, что компьютер выключился. Экран погас — но тут же на нем стали быстро сменяться таблички разного вида — Зимин не успевал ни одну прочесть. Дальнейшее оказалось совсем неожиданным.

Раздалась негромкая приятная музыка. На экране установилась рисованная цветная картинка. Запущенного вида жилье изображено было на ней. Диван под клетчатым покрывалом и книжную полку над ним можно было считать срисованными тут же, с натуры. На этом сходство, однако, кончалось. Карикатурный, обросший щетиной хмырь сидел на табуретке в совершенно пустом углу. Музыка смолкла — и

он вдруг ожил, задвигался. Взял табуретку, пододвинул под крюк, оставшийся на потолке, надо понимать, от снятой лампы, схематическими движениями рисованного персонажа в два приема наладил веревку, сунул голову в петлю — и замер. Вся картинка вместе с ним омертвела.

И что это должно было означать? — вскинул брови Зимин. Разновидность компьютерной игры? Намек неизвестно на что? При чем тут, однако, ZIMIN? И который из нас? Эта фамилия присутствовала теперь над рисунком в верхней части экрана, середине, словно заглавие сюжета. Что предложено было сделать с этим хмырем?

По смутному воспоминанию или догадке он снова попробовал нажать изогнутую углом клавишу. Продолжение на сей раз в самом деле последовало: поверх картинки возникла небольшая зеленая рамочка с вопросительной, судя по знаку, фразой — прочесть ее Зимин опять не сумел. Не знал он этого языка. Предложенные ниже для выбора варианты: Yes и No — были, конечно, английскими, но других слов, увы, он не узнавал. Впрочем, ему это было все равно. Yes было заранее подчеркнуто мерцающим штришком, и он нажал уже освоенную клавишу подтверждения.

Картинка сменилась белым полем, текст на нем был теперь, к счастью, понятен: «Господи, сколько проблем»...

Уже второй раз Зимин поневоле вздрогнул от неожиданности — еще до того, как отчетливо понял, почему ему знакомы слова. Это был отрывок из его «Приближения», откуда-то из второй главы:

«Господи, сколько проблем это решило бы сразу! Не пришлось бы в пятницу идти к зубному врачу, удалять очередной зуб, залечивать оставшиеся, дергаться в кресле... Бр-р! Не пришлось бы идти в суд, решать вопрос о разделе имущества. Пусть она берет себе все, пусть потом мучается мыслью, что это она довела. Тем более, не так ей много останется. Не придется думать, как отдать триста рублей приятелю, избегать с ним встречи, бояться подходить на телефонный звонок. А так и стыда не будет, никаких чувств, вот что важнее всего. Доводов «за» настолько больше, они так естественны и всем известны, что можно скорей удивляться, зачем люди тянут бессмысленную ляжку дальше, терпят унижения, мучаются? По привычке, это конечно. Из страха перед неизвестно чем. Как будто надеются дотерпеть до какого-то смысла, который в конце концов все равно окажется издевательским. Нет, мысль лучше укоротить. Она дальше всего уводит от дела».

Вот он, оказывается, куда запустил мой текст, — уяснил не без разочарования, хотя и усмехнувшись, писатель. На что, значит, употребил. Приспособил к нехитрой картинке в духе черного, как говорят, юмора. И с какой все-таки мыслью? Если он хотел сделать этого хмыря похожим на моего персонажа — нет. Нарисовано так себе. Двигается разве что. Но зачем, спрашивается? И что с этим делать дальше?

Надавил знакомую клавишу еще раз. Возникла опять зеленая рамочка с непонятным вопросом. Во что тут предлагалось вникать? Нажал Yes.

Прежняя картинка восстановилась. Хмырь, однако, теперь снял с шеи петлю, задом слез с табурета, быстро переместился в другой угол комнаты. Там стояла целая батарея небрежно изображенных бутылок, Зимин не обратил на них до сих пор

внимания. Взял одну — в ней можно было отчетливо различить красный остаток — и уставился с экрана на Зимина, искривив рот в страдальческом ожидании.

Ну, знаете! — дошло, наконец, до писателя. Присобачивать к моему тексту известный, давно заезженный анекдот! Про алкаша, который, уже наладив веревку, вдруг вспомнил про недопитую бутылку: не оставлять же другим? Вопрос в рамочке не требовал перевода. Можно, конечно, считать и это юмором, но попахивал он в этой комнате скверно. Не говоря о исполнении. Как и о том, что присвоен был без разрешения неуместный здесь текст... имя, в конце концов. Но! — перевел он черточку.

Хмырь что-то возмущенно заверещал электронным голосом, крутя у виска пальцем. «А право на последнее желание?» — понять это верещание было не сложнее, чем надпись, похожую на абракадабру. Как будто мы не знаем, что там дальше. Запоют птички за окном или в голове, жизнь еще может наладиться, да? И такие вот электронные премудрости ради анекдотической ерунды? Но. Но.

Хмырь понуро вернулся на табурет, надел на шею петлю, выжидательно замер. Зимин смотрел на экран не то что с разочарованием — с какой-то даже обидой. Словно лично ему была адресована усмешка — неизвестно чья, неизвестно за что. На какие еще куски разобрано здесь мое «Приближение»? Куда они рассованы? И где их искать? Собирать по клочкам? А главное, для чего? — подумал он...

Так вот же еще книжная полка! — вдруг удивился писатель своей недогадливости. Что это ты, в самом деле? — сказал он себе. — Не сообразил ткнуться туда сразу! Книгу следовало искать именно там. Неизвестно, правда, в каком виде. Компьютерный, надо понимать, метод: расщеплять мысль на составляющие, переиначивать, сцеплять неизвестно что неизвестно с чем. Названия на корешках отсюда не прочитывались, надо было их увеличить. Ну-ка, попробуем ткнуть сюда стрелочкой...

Хмырь повторил уход с табуретки, только на сей раз прихватил ее с собой — полка была нарисована высоко. Залез, обернул к Зимину вопрошающее лицо. «Чем больше начнешь размышлять, тем дальше уйдешь от дела, я же предупреждал,» — напомнила чужезычная надпись. Ладно, ладно, — отмахнулся Зимин. Yes, — нажал он продолжение.

Корешки разноцветных книг укрупнились во всю высоту экрана, в длину же вся полка на нем не поместилась. Читать вертикально расположенные названия было не очень удобно, к тому же многие и здесь оказались иностранными. Зимин их стал пропускать, выделяя для себя русские. Книги были совсем не те, что оставались в настоящей комнате. «Геометрия музыкального поля», — читал он. «Формула дерева». «Перемена сознания и мира». «Эстетика и этика зла». «Самоуничтожение века»... Ничего себе! — покачивал он головой, читая. — Нашел же такие! А, может, сочинял на подобные темы, книги, не книги — у них они могут называться программами или играми. С использованием рисунков, текстов, геометрии, формул, чего угодно. Где тут все же поискать «Приближение»? Надо продвинуться дальше, вправо. Как это делал Павлик?

Потыкал опять клавишу со стрелкой вправо. После нескольких нажатий изображение сдвинулось. «Философия целого», — читал Зимин дальше. Эк как многообещающе, — насторожился он. «Энергетическое измерение». «Трусость литерату-

ры»... О, это уже что-то по моей части, — усмехнулся писатель. «Жизнь мимо жизни»...

Электронный писк заверил, что дальше книг не было. И что теперь делать с этими? — примерил писатель. Ткнуть той же стрелочкой в любую, глядишь, откроется? Вопрос, в какую? «Жизнь мимо жизни»... Сомнительное заглавие. По правде сказать, без любой бы он предпочел обойтись. Зря отказал этому хмырю в более приятном выборе. Вернуться бы к нему, посмаковали бы вместе картинки попроще. Поувлекательней. Но Зимин не знал, как вернуться. Забыл сыновний урок. Ничего. К приходу женщины он, право же, мог считать себя готовым. Разве что полюбопытствовать, куда осталось время, насчет энергетики. Это дурацкое слово столько раз возникало в письме. Попробуем через нее, — решил он.

Подвел стрелочку к книге, нажал клавишу.

Энергетика благодеяний, —

возникло оглавление во весь экран.

Энергетика веры

Энергетика власти

Энергетика дела

Энергетика души

Энергетика животная

Энергетика гиперморали

Энергетика космическая

Энергетика личная

Энергетика любви

Энергетика масс

Энергетика потрясений

Энергетика художественная

Энергетические затраты

Энергетические источники

Энергетический проект.

Да... Ожидавшихся находок это явно не обещало. Построения в духе любительского философствования. Какая-то гипермораль. Какие-то благодеяния. Вспомнить бы, как все-таки вернуться назад, теперь уже хоть отсюда, попробовать другую книгу. Да ведь и это бы не прибавило смысла. Хорошо, сунемся в душу, не все ли равно?

Появившееся изображение представляло теперь цветную фотографию. Театральный зал был на ней, зрители смотрели на сцену. Актеры в современных костюмах стояли там вокруг тела, лежащего на возвышении, пятками к залу. Это еще было к чему? Зимин не успел сообразить, что теперь нажимать, когда картинка сама по себе сменилась текстом.

«Плотно ли закрываются двери в зале? Если напустить сюда газ, он вытекать не будет. Двери на вид достаточно прочные, их можно укрепить дополнительными засовами. Газа понадобится много: объем-то какой! Раз в двадцать больше любой камеры. То есть около сорока емкостей, не меньше. Если я еще сохранил способность считать в уме. Зато сразу такая производительность. Здесь человек двести. Всего за четверть часа. Если, конечно, все щели плотно закрыты. Одних волос наберется меш-

ков восемь. Соответственно и одежды. А золотых зубов! Не говоря о драгоценностях. Еще бы, мы всегда старались с собой взять побольше. Чтоб еще пожить. Пожить. Доходит не сразу. До этих тоже не сразу дойдет. Но что они там на сцене делают? Почему так разволновались? Пока что волноваться нечего. Там кто-то умер, это я понимаю. Сам по себе. Один человек. А столько суматохи, разговоров и — смотри-ка ты! — слез! Честное слово, внутри все начинает смеяться. Если это так можно назвать. Несут зачем-то еще цветы, ленты. Даже оркестр привели играть. Да что они, в самом деле? Это же невозможно вынести: столько суматохи и слез вокруг одного-единственного тела».

Чей это бред? — передернуло Зимина непонятным ознобом. И на какой вопрос опять требуется отвечать... если тут вообще есть вопрос? Если считать вопросом эту абракадабру в рамочке. Вылезать, вылезать надо отсюда... во что опять тыкаться? Во что угодно...

«Энергетика души отличается от природной, — возник новый текст, — но требует особого питания. Душевный запас сверх обычной нормы так же редко дается от природы, как умственная гениальность, и истощается вынужденным растратным усилием (голод, страх, забота, переутомление, позор, беда). Потрясение может породить плюсовую энергию, когда оно качественно сконцентрировано во времени и пространстве. Люди с минусом жизненного чувства ослабляют своим существованием энергию совокупную».

Не просто бред, — подтвердил для себя Зимин, — именно самодельная философия. А знакомый язычок проступает, как же! Энергетический минус, качественная концентрация. «Приближение», надо надеяться, здесь ни при чем. Еще бы этого не хватало. Подальше от меня, подальше — куда, не имеет уже значения. Но занятно, как я могу все-таки продвигаться, сам сознавая, что не умею. А получается ведь...

Он и впрямь начинал ощущать нечто вроде азарта, обнаружив в себе эту способность так запросто, против собственных ожиданий, перемещаться от картинки к книге, от страницы к странице. Что-то похожее было с ним в детстве, когда он сел без спроса за руль оставленной во дворе взрослыми автомашины: нажал, сам не зная какую, педаль, и машина тихонько двинулась под уклон. Как ее удалось остановить, он не помнил, помнил только замирание сердца — оно повторялось потом не раз, когда он вел машину, зная, что научиться этому не успел, но удавалось само собой, без умения — даже благополучно проскакивать не замеченные вовремя светофоры, непонятные знаки, вписываться в любой неожиданный поворот. Не удавалось лишь почему-то выехать к нужной улице, но упоение было в самой способности, которой ты за собой, странное дело, не знал. Это оказывалось вовсе не так сложно, не надо было бояться, лишь бы необъяснимыми, но все равно правильными усилиями остановить машину без катастрофы...

«Чувство внезапного понимания проникло в меня, — читал он следующую страницу, — когда я увидел озеро с самолета. Тысячи сохранившихся тел видны были под прозрачным льдом, в одежде и без одежды. Не знаю, можно ли применить обычные слова к воздействию этой силы, даже на расстоянии. При такой-то концентрации, такой интенсивности. По моему нечаянному опыту, наличие за стеной даже одного достаточно свежего тела действует на мысль, как совокупление двух живых.

Вопрос, передается ли нам от животных. Установлено во всяком случае, что производительная сила возрастает, если племенные заводы устраивать рядом с бойней».

Ишь, куда его! — в нарастающем, не совсем здоровом уже возбуждении поторопил следующую страничку Зимин. — И меня вместе с ним заносит. Это, что ли, называлось у него энергетической концепцией? Ничем хорошим там даже не пахнет.

«Утро в горах, — читал он теперь. — На одной стороне ущелья еще ночь, на другой — уже солнце играет. Ты стоишь между светом и тенью, автомат еще раскален от стрельбы, а ты — живой. Как описать невероятный накал всех чувств на тонкой грани между жизнью и смертью, резкого их обрыва, когда смолкла стрельба и наступила оглушительная тишина? Опустошение и свобода. Небывалое сознание и чувство жизни. Когда не просто вдыхаешь воздух — вместе с ним входит в тебя новая сила. В обычной жизни этого не понять. Ты не испытывал такого даже в любви. И хочется испытать это снова».

Кто это говорит от своего имени? — сопоставлял Зимин. — Один человек? Или подобраны разные свидетельства, рассуждения? Уже можно примерно догадаться, о чем. Зачем все же ему показался нужен я? Не туда занесло, уже ясно. Меня, во всяком случае, не туда. Но если не знаешь, как выбрать дорогу... Вот, опять:

«Эти люди в обыденной жизни добродушны, улыбочивы, они не питают злых чувств к иноплеменникам, которых подстерегают в зарослях. Что делать, им нужны чужие головы, чтобы раздобыть имена для своих новорожденных детей. Так устроен их мир, в нем запас имен ограничен, надо какое-то освободить для беспомощного, вошедшего в жизнь младенца, иначе он не получит прав для существования в этой жизни, не сможет в ней удержаться».

Какой возвышенный идеализм — называть это потребностью в имени! Другие обосновывают свою потребность иначе, ищут способ отменить ограничения, когда нужно исполнить обычай или государственный приказ, защитить себя или близких».

Философ, — подтвердил с кривоватой усмешкой Зимин. Надо все-таки отсюда выбраться. Что здесь считать словом «нет» или, может быть, «выход»? Допустим, это.

Табличка или новое оглавление появилось в ответ на экране:

анонимность  
комбинат  
материал человеческий  
подписка о неразглашении  
полигон  
программа  
ритуал  
служба поиска и вербовки  
страховка  
структура  
сувениры  
фармацевтика  
шифры медицинские

центр возвращения к жизни  
экскурсия

Ну, вот тебе и на! Выскочил, называется, — качнул головой он. Что-то опять из разряда игр, в которые нет ни охоты, ни надобности играть. Комбинат... шифры медицинские... экскурсия... слова-то, оказывается, уже отчасти знакомые. Нужно ли в самом деле разбираться, что они здесь означают? Нетрудно вообразить, идея так и готова выстроиться. Хватит. К тебе это не может иметь отношения, а холодком каким-то оттуда веет, что говорить. Лучше не трогать. Не забредать, куда не надо. Осталось бы после него что-то более осмысленное. А этот вопрос, что бы он ни означал: No. No.

«Можно обходиться без понимания, — неожиданно согласился компьютер. — Перебирать варианты ответов, не заботясь о вопросах, об их смысле, не нуждаясь ни в том, ни в другом. Проскакивать развилки, к которым уже не вернуться, поздно. Даже если бы ты захотел, если бы смог — упущенные возможности отменены. Стоит ли обсуждать их в сослагательном наклонении? Мы тут. Дикарь, который тычет наугад клавиши, не самый опасный. Действительным ужасом может обернуться то, что кажется пониманием. Первоначальное направление мысли просматривалось так ясно, выбор был так очевиден! Требовалось его лишь осознанно выстроить, добросовестно испытать, проверить возможные отклонения, как проверяют же фармацевты побочные, нежелательные воздействия. Почему все равно неизбежно оказываешься тут? Я запоздало осознал, что за работой моих мозгов все это время кто-то имел возможность следить, использовать промежуточные, попутные результаты, присваивать, приспособливать для того, что называлось и у них программой. Запоздало опомнился. Моя вина. Бездельной была попытка убежать, убежать все время куда-то дальше, дальше, запутывая следы, не позволяя себе остановиться. Потому что, едва остановишься, ощутишь тот же ужас. Он, оказывается, в тебе. Единственный выход — прекратить работу мысли, которая может сама себя погубить. Все. Прощайте. Я ухожу туда, где вы меня не достигнете».

Зимин читал это, поживаясь словно в непонятном ознобе. Сумасшествие, сумасшествие, — подтверждал для себя он. Но как было не принять на свой счет нечаянное попадание? Дикарь, наугад тычущий клавиши, обошедший без вопросов. Проскочил, значит, какие-то развилки, и безвозвратно, так это понимать? Там ведь, действительно, было разное, как же. Энергетика любви, энергетика художественная... словесная всячина. Что же осталось скрыто, спрятано в этих неживых внутренностях? Зачем? От кого? И теперь, может быть, утрачено? Куда хотел он добраться сам? Неподвижный инвалид, сохранивший лишь голову и пальцы для работы на клавиатуре. В таком неопределенном виде он для тебя только и остается. Тебе доступно только несуществующее, с другим просто не совладать. Такой горестный, такой незаурядный, что говорить, ум. Известное дело: между безумием и гениальностью не всегда уловишь границу. И в такой обстановке, в таком окружении, на этой коляске! Какими он мучился ужасами, какими вопросами, от кого хотел убежать?..

Да, — тут же поправил себя Зимин, — если насчет преследования — это все-таки не обо мне. Я тут вообще ни при чем. Как и моя книга. В ней он даже близкого

найти бы не мог. Разве что в пространстве, как он выразился, вокруг. Но это уже другое. Меня он, наоборот, звал зачем-то. Зачем-то я мог показаться ему нужен...

Он вдруг ощутил, как онемели от неудобного долгого сидения ноги. Захотелось поправиться поудобнее, встать. Ноги дернуло электрической болью. Он, зажмурившись, замер. Непонятный испуг пронзил его вместе с этой знакомой болью. Боль отсутствующих ног, — подумалось ему почему-то. Словно бы не моя...

Выждал время, пришел в себя, переменял все-таки позу. Ни вопроса, требующего выбора или решения, ни мерцающего штришка больше не было на экране. Значит, все. И на что было тут отвечать, что решать? — с усмешкой сказал он себе. — Все верно. Потыкался, как умел, добрался, куда занесло. На этом надо кончать. Признаю. Согласен. Где тут признаться, что нажимать? Не стоило, во всяком случае, оставлять напоказ этот нелестный итог. Убрать хоть как-нибудь. Все равно выйдет наугад...

Он уже и думать перестал, что какой угодно результат может показаться ему опять неожиданным. Но появившегося в ответ надпись его озадачила.

«Write your code», — предложил компьютер. Недоученный в свое время язык Зимин на таком уровне мог, оказывается, понять, упрекал он себя не вполне заслуженно. Тот, прежний язык был, действительно, не английским, может, вообще никаким — не для понимания. Кроме двух единственных слов. Но какой код, интересно, от него требовали? Контроль теперь уже и на выходе, для понимающих? Смешно. В письме, помнится, было заумное выражение о каком-то общем буквенном шифре. Общая фамилия, что ли, имелась в виду? Мерцающий штришок указывал для этого место.

Печатать на машинке Зимин умел и вслепую. «Pbvby», — получилось на экране. Ошибка стала очевидна тут же: клавиатура была настроена на латинский шрифт. Набрать имя в латинской транскрипции было несложно, только бы знать, как стирается написанное. Даже такой простейшей вещи он не умел. А, если ему нужно, пусть разбирается сам, — нажал клавишу Зимин.

Компьютер принял код без возражений, даже шрифт переименовал сам.

«Do you want to go to Zimin 2?» — поинтересовался он.

Это что же, — насторожился писатель, — есть, значит, еще куда? А я уж думал... Ну что ж, если допустить, что это ко мне...

Экран на время, как уже было, погас. Из затемнения под тихий музыкальный перелив появилось ненадолго лицо — то самое, что недавно показывали на крохотном негативе — если можно было в таком виде и за такой краткий миг что-то узнать. Перед собой негативный человек держал указательный палец, как бы призывая немного подождать: сейчас... Музыка умолкла, вместо лица появился текст:

«Программа впечатляла видимой простотой. Такхватило когда-то пальцев двух рук для заповедей осмысленного существования. Система первоначальных уравнений приобрела графический вид дерева, на удивление жизнеподобного, со множеством разновеликих веток и даже утолщениями зачаточных листочков. Очертания радовали взгляд гармонической красотой, которая подтверждает истинность и совершенство решения. Лишь в некоторых местах возникли чужеродные, болезненные образования. Не составило труда их убрать, выправить, если угодно, оздоровить кар-

тину. Вникать в соответствующие программные уточнения не было надобности. Едва удавалось следить за саморазвитием образа, оказавшегося жизнеспособным. Дерево разрасталось, распускались листья. Можно было ввести объем, цвет. Женщина выявилась в стволе, ее груди вспучивались вместе с корой дивными выпуклостями, на месте выпавшего сучка круглился пупок, сок проступал из расщелины. Мужские образования прекрасными трудно было назвать, но не избавляться же было от этих наростов! Как вообще судить о красоте и уродстве, отличать здоровое от больного, безвредное от губительного, злое от доброго?»

«Птица Анзуд свила в ветвях гнездо, — сменилась на экране страница, — в корнях поселилась змея Мерит. Корни вылезали за пределы обозримого. Стоило проследить дальше их разветвленную до капилляров систему, чтобы обнаружить, как они соединялись там с системой других, неизвестных, совершенно чужеродных сосудов. Древесный сок, моча и гной, кровь и сперма текли по трубам, клоакам неизвестной канализации, по вздувшимся многотрудным венам. Никакой объем памяти не мог бы этого вместить, к ней оказалась подключена, очевидно, чья-то еще, и не одна. Что же творилось тем временем наверху? Как неузнаваемо все там преобразалось! Первоначальные ветки усохли, отпали, как родительские предания; еще кривлялись, приплясывая, остаточные тени, когда-то пугавшие древних, потом растворялись, исчезали — насовсем ли? Другие ветви разрастались, усложнялись бессчетными разветвлениями, это было уже не дерево, цельный вид его невозможно было выявить, обозреть — сплошной путаный хаос, кишень».

«Укрупнив мельчайший участок, — читал дальше Зимин, — можно было увидеть реку с песчаным берегом, темные норки, точно поры, покрывали обрыв, озабоченные быстрые стрижи сновали туда-обратно. В другом месте оказывались вздымающиеся горы, ящерка грелась на горячем камне. И вдруг камень вместе с ней сметало беззвучным взрывом. Стоило ввести звук, чтобы услышать стрельбу, крики ужаса — что же было теперь с этим делать? Ни одна клеточка не могла ощущать своей связи с целым, а ты сам уже ни над чем не был властен, не мог даже уследить за ежесекундным развитием, откликаться на непредсказуемые перемены».

Дальнейшего не последовало.

Увы, — прикрыл усталое глаза Зимин. Не слабость, а какую-то разбитость ощущал он. — Если это вопрос, то не ко мне. Я на обобщения не претендовал. Хотя в своем-то возрасте не столько понял, сколько ощутил: попытка выстроить какое угодно убедительное понимание, какое-то осмысленное решение — при таком разнообразии исходных данных — обречена заранее. Как и надежда предупредить, выправить искажения, ошибки — да, оказывается, неизвестно еще чьи, так, что ли? Не над всем ты оказываешься властен. В какой момент происходит сбой? В любой, неужели могло показаться иначе? Искать неточность, пробовать задним числом что-то улучшить, исправить — все равно, что искать смысл. Я-то уже действительно это прошел, в этом и расписался. Кончим на этом, ладно?

И снова, с усвоенным уже автоматизмом нажал клавишу.

«Write your code», — вернулось на экран требование.

Вот те на, я ведь только что его написал? — поморщился недовольно Зимин. — Двойной, значит, контроль? Невелик секрет — фамилия. Ну, пожалуйста.

«Zimin», — набрал он на клавиатуре, теперь уже правильно.

«No, your work, please», — попросил недоверчивый компьютер.

Мою работу? — понял Зимин. — Написать заглавие? Для перестраховки, чтобы не влез чужой? Еще бессмысленней. Разве и это заглавие — большой секрет, чем фамилия? Экземпляр был, допустим, единственный, но он уже здесь, известен. И, кроме того, я не знаю, как «Приближение» на английском, если именно это нужно. Вы слишком лестно обо мне думали, — добавил мысленно он, словно и впрямь обращаясь к кому-то. Даже, вот, русскую клавиатуру не умею переключать... Ну, хорошо, если это вам зачем-то понадобилось — попробую, как умею.

«Ghb, kb; tybt», — получилось в результате набора. Зимин нажал клавишу.

«Thank you, but first title, please», — не принял его абракадабру компьютер, вежливый, но преувеличенно бдительный.

«Первое заглавие»? — понял Зимин, ощущая, как снова нарастает внутри непонятное волнение. Это что еще значит? Разве он мог знать о «Временах жизни»? Откуда? В книге этого заглавия, помнится, не возникало. Неужели все-таки попали случайные, не отсюда, листки, остался по недосмотру намек?.. Возникло ведь такое чувство однажды. Не знаю, — сказал он себе. — Не знаю. Что-то уже из области мистики. Ладно. Мистика так мистика. Введем «Времена жизни».

«Dheveyf ;bryb», — набрал он и нажал клавишу.

Знакомая мелодия — мелодия узнавания — заставила его снова поежиться. На мгновение, как переходная техническая стадия, негатив того же лица вывернулся позитивом, и Зимин не мог утверждать, будто в самом деле смог за это время узнать, ухватить мимолетное сходство. Да разве узнаешь уверенно самого себя на юношеских снимках? Установился опять негатив, призрачные черты вдруг зашевелились — и раздавшийся непонятно откуда голос вызвал у Зимина в самом деле озноб по коже.

— Вы все-таки нашли меня. Нет сомнения, это действительно вы, никто другой сюда не добрался бы. Мне так не хватало ваших исходных материалов, недоступных мне доброкачественных данных. Может, вам тоже кого-то надо было сбивать со следа. Но так хотелось верить, что мы друг друга найдем! Ведь я для вас еще существую?

Голос замолк, Зимин все не мог оправиться от какой-то ошеломленности. Он оглядывался, выискивая источник звука. Темная коробка стояла на сейфе, еще такая же была позади компьютера на столе... Может быть, эти... Но что это объясняло?..

— О да! — Зимину пришлось поневоле слотнуть слюну, чтобы смочить пересохшее горло. Собственный голос звучал, как чужой, он требовал принудительного усилия. Но как было еще отвечать? Микрофона среди этой аппаратуры на столе он распознать не мог — да был ли он? И до кого мог дойти голос? Не сумасшествие ли было говорить вслух? — Если бы можно было и себя считать сумасшедшим, — ответил он сам себе, преодолевая смущение. — Увы, я слишком нормален. Может, потому и держусь. Вы даже угадали мое слово. Насчет «существую». Но мне ли теперь удивляться? Казалось, с несуществующим говорить проще. И вот говорю — зачем? А ведь всю жизнь занимаешься чем-то похожим. Ведешь разговор то ли с самим собой, то ли с кем-то невидимым. Про себя или вслух? Правда ведь? Как бы ты его ни называл, кем ни считал. Вы для меня существуете, как мало кто другой... о да! Хотя, мо-

жет, наши мозги просто несопоставимы. Даже устроены как-то по-разному... по-разному оснащены. Я никого не собирался сбивать со следа, чего-то я просто не понимаю. Что значит для вас доброкачественный материал, исходные данные? Если я верно понял, моя книга попала каким-то образом к вам прямо сюда, в этот вот ящик. Не нуждаясь в бумаге... Мне это трудно представить. Хотя объяснить, наверно, несложно. Другая цивилизация. И, может, нигде больше она не существует. Растворилась, мне до нее теперь вряд ли добраться. А что найду, не узнаю, да? Разобрана на куски, переиначена, переосмыслена. Но что же вам захотелось соединить, что показалось совместимым? Разные времена? Разные жизни?...

Он помолчал, ожидая ответа, потом, спохватившись, нажал клавишу.

Голос на сей раз не откликнулся. Пошевелив губами, юноша вдруг исчез с экрана. Вместо него появилось пожелание — теперь по-русски:

«Введите начало».

— Какое начало? — в недоумении переспросил Зимин — все еще поневоле вслух. — Как начиналась книга?.. Или вы имеете в виду что-то другое? Можете объяснить?

«Введите начало», — только и повторил компьютер.

— Не понимаю, — пожал плечами Зимин. — Что вы называете началом? Начало текста? Вы его сами знаете. Какой-то из самых ранних, первоначальных вариантов? Начало жизни? Неловко же говорить об этом всерьез. Работа моя, правда, началась действительно с невозможного, неисполнимого желания — вместить в считанные страницы весь мир целиком, не более не менее. Всю полноту жизни. Проследить, как она складывается, понять, почему так, у всех вместе и у отдельного человека. Я об этом уже говорил. Что-то близкое вашим занятиям, насколько я способен себе их представить. Но ведь я, пожалуй, раньше вас осознал: всякий мир оказывается неизбежно условным, неизбежно ограниченным. Хотя когда-то, представьте, пробовал, напрягая фантазию, вообразить даже начало сознания. Это еще непостижимей, чем представить возникновение жизни. Нет, забраться можно не дальше, чем в детские воспоминания. Если это вы называли доброкачественным исходным материалом?.. нелепые все же слова, простите. Вы хотели что-то такое ввести в неизвестную мне программу? Времена, так сказать, невинных радостей... — ну да, где же еще искать? Но знаете, когда невинный младенец обрывает крылышки мотыльку, лишает жизни красивое существо, не зная даже слово «жестокость», когда осознаешь, сколько и здесь бывает намешано... да что говорить об этом! Известное дело. А забраться бы куда-нибудь еще дальше, совсем уже в досознательное, утробное существование, представить, каким ужасом сопровождался сам акт рождения! Как мучительно, с непосильной для живущего частотой билось еще не родившееся наше сердчишко, как распирала его кровь, что означал этот вопль рождения! Нет, что нам теперь до этого? Да мы и помнить не можем. Началом, некоторые говорят, вообще надо считать не это, а другой, действительно воспетый, сладостный миг. Ну да, уж это конечно! Если б мы только по себе не успели узнать, сколько бывает связано с этим стыда, ужаса, лжи, унижения, боли, крови, насилия, грязи... Простите, я понимаю, что несу бред. Во всем почему-то оказывается неправда, неполнота — словно действительно в программу, выражаясь по-вашему, оказывается вживлен зародыш чудовищного раз-

вития. Чего действительно невозможно понять: мир при всем этом каким-то образом держится. Пока держится, вот что опровергает умственные построения. У меня, если на то пошло, должно было в самом деле начаться все с чувства, называемого, представьте, любовью. У вас тоже что-то из этой области проросло... не знаю. Я набросал, помнится, такой эпизод. Выбросить его тоже пришлось, он просто не соединился с последующим. С последующей жизнью, так сложилось... но я опять не о том. Это не значит, что я от эпизода отказываюсь. Пусть остается сам по себе. Я его даже помню. Может, и не дословно... то есть не в прежних словах. Так ведь слова все равно мои, смешно отнекиваться. Могу ввести, если вас это интересует...

Надпись уже исчезла, чистое голубое поле предлагало себя.

— Да, — спохватился с усмешкой Зимин, — но я не умею даже переключать шрифт, получается абракадабра. Вам, может, все равно, я это уже почувствовал. Но когда набираешь текст, не видя нормального результата, надо над каждой буквой себя перепроверять, как бы не было опечаток. Это ведь может иметь значение, да? Запятая не в том месте вдруг вызовет непредвиденные последствия, что-нибудь где-нибудь выйдет не так?.. Ладно, считайте, что сам над собой смеюсь. Я ведь не понимаю, как все это устроено, чего вы ждете, что такое эта программа. Но если понимание не обязательно — как хотите. Только будет совсем медленно. Назовем это началом жизни, еще неизвестно чьей. Или началом дня. Утро, одним словом...

«Встаешь от женщины,ходишь к окну, — начал набирать он, следя лишь за клавишами; белобуквенная абракадабра на голубом поле сбивала лишь его с толку. — Уже светло, и все вокруг: деревья, дома, дорога, небо — окрашено, омыто, наполнено или опустошено совершившимся, отзвучавшим только что, и озабоченные прохожие — посторонние на твоём празднике, не подозревающие о нем, но самими своим существованием в этот миг все-таки к нему причастные. Им тоже это бывает дано, но сейчас ты — царь, прекрасный мир перед тобой, прекрасная женщина за твоей спиной».

— В таком вот роде, — остановился Зимин. — Так это начиналось когда-то. Дальше не имеет значения. Слова красиво звучат, да? Пожалуй, слишком красиво. И что с этим теперь делать? Ввести, так вы бы сказали? Если получится...

Полуразборчивое бормотание раздалось в ответ нажатой клавише. Это был звук ритмичной работы.

«Что-то сладкое было в этой беспричинной жути, в этом чувстве близкой и важной догадки, которую не удавалось выявить до конца, как не удавалось выдавить из себя кашку, — вдруг узнал он строки из той же книги. — Край горшка все больней вдавливался в попку, и хотелось длить это сладкое мучительное состояние — но тут открывалась, слепя глаза, дверь, мама сердито поднимала тебя с горшка и обнаруживала, что он пуст...»

Непонятное мельтешение началось на экране. Мгновенные изображения, таблицы, надписи стали сменять друг друга, не давая себя рассмотреть. «Надорванные края по закону мировой кривизны должны совпасть совершенно», — сказал отчетливый голос. Тени произвольных очертаний заполнили экран, их стало крутить, словно затягивая в воронку, к центру, от этого мельтешения начинала кружиться голова. Наконец оно остановилось.

«Бросайся в бездну, чтоб обрести крылья», — высветилось на черном фоне во весь экран.

— Нет! — даже пристукнул по столу Зимин; неожиданная реакция его была бессмысленна, как все сейчас. — Это не мое. Мне это не нужно. Неужели надо еще объяснять? Как будто оправдываться. Даже мой губошлеп сумел такую простую вещь понять. Потому он и удержался в жизни, смог ее продолжать. А вы на чем сорвались? Куда вас занесло? И боюсь, не только вас, вот что я начинаю с опаской чувствовать. Но я тут ни при чем. Это не я. Я этого не утверждал. Знал же, что лучше вовремя прекратить. Но. Где у вас это Но? Нет!

«Страдание замедляет время. Невыносимое страдание останавливает время. Называется ли это вечностью?»

— Нет. Нет, — в безотчетном ознобе твердил Зимин.

То, что он теперь слышал, было биением его сердца. Звук нарастал, подчиняясь неизвестно чьему усилению. Бормотание становилось отчетливым. «Вечность рая или вечность ада, — без выражения говорил голос. — Запах стыда и запах бесстыдства. Свет на оболочке без глаза». — Бормотание приспособлялось, подчинялось тому же ритму, что звук сердца, сквозь него проступала все явственней музыка. «Небо перевернуто, колючая проволока, лошадь без кожи, опаленная взрывом, пальцы и лица, мягкая плоть обвисает, мертвеет, переходит в сырье для еще не рожденных, кости в золе белеют, как свечи, неизвестно где, вне времени и пространства». Жалобный напев пробивался и не мог высвободиться из-под басов, взмахи черных тяжелых крыльев обрушивались на мечущуюся птичку. Ритм вдруг передернуло судорогой, кривая трещина, громыхнув, вспыхнула на экране, она расширилась со скребущим по спине стоном...

Зимин вскочил, с трудом выдерживая собственное сердцебиение, стал озираться, пытаясь определить источник звуков. Музыка шла откуда-то не отсюда — из-за стены. Он кинулся к двери, рывком распахнул ее.

## 6

Звуки высвободились, хлынули в открывшийся проем, переливаясь, клубясь, громыхая. Неизвестный инструмент сипел, задыхался, точно уже не справлялся с напором — что-то в нем надламывалось, хрипело. Жалобное подвывание, пускание ветров, скрип падающего дерева, стон трещины... Полопались, рассыпались брызгами пузыри. Все смолкло.

Зимин, наконец, увидел: над парадной дверью в торце зала нависала надстройка вроде хоров. Входя, он не заметил ее над своей головой, лишь теперь она была осознана взглядом. Там, в темной глубине, угадывались трубы невидимого инструмента. Музыкант, должно быть, затаился за ним.

— Послушайте, — сказал Зимин — и уже который раз смутился звучания своего голоса. Он отдавался в пустом пространстве опять с преувеличенной, чужой силой и ясностью. — Послушайте, — умерил он голос, — почему вы вдруг перестали играть? Я не собирался вам мешать, поверьте. Хотелось, наоборот, еще вслушаться, понять. Но конец такой внезапный, оборванный. Что это за музыка? Без построения,

развития, темы. Мешанина звуков. Или я не сумел уловить? Я знаю, теперь принято обходиться без того, что называлось гармонией. Музыка может звучать что угодно. Повседневный шум, шелест листьев, хлопанье белья на морозе. Ее просто не всегда слышишь, я сам когда-то думал об этом. Но что у вас за чудовищный инструмент? До сих пор мурашки по коже.

Зимин почувствовал, что льстит музыканту не совсем по заслугам, мурашки могли быть вызваны вовсе не достоинствами исполнения и самой музыки, чем-то совсем другим. Он словно хотел расположить неизвестного, заверить в своем сочувственном понимании. И говорил-то скорей наугад — как обращались в детстве к спрятавшемуся, делая вид, будто уже разгадали, знают где он — и, поддавшись уверенному тону, тот решит, что прятаться теперь бесполезно.

— Вы понимаете? Вы меня слушаете? — повысил Зимин голос. — Почему не желаете показаться? Или хотя бы ответить? Не можете? Или, черт, побери, издеваетесь? А? — крикнул он уже раздраженно, понимая, что отклика не дождется. — Не к электронике же вы этой подключены. По-человечески — так все-таки нельзя...

Господи, да что ж я все время, как идиот? — одернул он себя, наконец. Обращаюсь к кому-то опять, теперь уже наверху. Как будто он для меня может что-нибудь значить. Да еще чуть ли не с заискиванием, с преувеличенной похвалой. До него попросту не доходит, что я хочу выразить. Это в самом деле нельзя даже называть музыкой. Набрел кто-то случайный на инструмент, балуется, пробует без умения, воображает, что это игра. А я, как всегда, тянусь воображением вслед... даю в себе разрастись. Хотя надо мной втихомолку сейчас и вправду смеются...

Да можно просто застигнуть его на месте, увидеть, схватить за грудки, — пришло ему вдруг на ум. Там, прямо за дверью, была ведь лестница наверх, она, конечно же, вела на эти хоры, к паршивенькому инвалидному органу...

Он кинулся к выходу, дернул, потом толкнул дверь. Она была заперта. Кто-то, значит, успел позаботиться. Инвалиды замкнули за собой или эта женщина. Может, и наружный выход закрыли.

Зал был пуст и неузнаваем в искусственном полусумраке. Света за потолочными стеклами больше не существовало, только дежурные лампочки. Посуда и скатерть были убраны, на месте стола открылся голый геометрический постамент, какие можно увидеть в церквях, крематориях и ритуальных отделениях моргов. Вот почему было так неудобно сидеть — некуда засунуть ноги. Полустертые подробности настенной росписи были обобщены полусумраком, свежеразмазанные пятна рабочей штукатурки оказывались не просто случайными, они выбеливали костную основу громадного, во всю стену, лица; затененные провалы глазниц под лобными костями, над скулами, вмещали в себя целиком остаточные фигуры.

— Ладно, — сказал Зимин — сам себе, но все еще вслух. Отчасти по инерции, отчасти на случай, если его все-таки слышат. Пускай не воображает о себе свысока. Сверху. Принял за музыку невесть что. Допустил слабость. Бывает. Я ведь и не ждал ничего, — продолжил он уже про себя. — Не претендовал, не искал. Если угодно, наоборот. Это от меня все чего-то хотели, ждали. Как будто что-то может зависеть от меня, который здесь немного способен понять. Чем дальше, тем меньше. И лучше не надо. На этом и разойдемся. Как уже решено. Без дальнейших выяснений. Что бы

ни оставалось там, внутри электронных коробок или не знаю где, у меня есть своя жизнь, не здесь, и я в нее намерен вернуться. Вот так. Пусть продолжается, как пойдет. По возможности. По привычке, по дорожке хоженной-перехоженной, среди своих стен. До конца в любом случае добредем, не правда ли? Тогда и будем толковать, подбивать бабки. А насчет разных этих построений, гармоний, чего там еще?.. Мы ведь их не более чем сочиняем по надобности на время своей жизни, привносим в нее от себя...

На спинке одного из стульев, рядом придвинутых теперь к стене, он увидел свою куртку. Она была аккуратно повешена, сумка лежала там же, на сиденье. Позаботились. Вот и хорошо, — подумал он. Лучше все-таки теперь самому найти выход, никому не звонить, никого не звать.

Он заглянул еще раз в комнату. Пахло чем-то горелым. На экране еще светилось, затухая по краям, тусклое, на издыхании, бельмо. Неужели я что-то не так сделал, нажал что-то не то, безнадежно испортил, уничтожил все, что здесь было? — подумал Зимин. — Вместе со своим «Приближением», вот ведь какое дело. Тогда тем более лучше улизнуть, пока этого не обнаружили.

На сейфе у двери стоял белый фаянсовый кофейник, чашечка с блюдцем, сахарница. Значит, Сана все-таки тихо сюда заходила, а он не заметил, поглощенный экраном. Как будто отсутствовал. Долго ли?.. Потрогал пальцем — кофейник уже остыл. Хлебнул прямо из горлышка... Да, а что еще за сувенир подсунул мне этот Бабай? — вспомнил он.

Отколупнул скотч, развернул оберточную бумажку. Из нее выпростался коробок вроде спичечного, только с цветной печатной наклейкой: «Сувенир». Выдвинул ящичек — и ощутил дурноту. В коробке лежал кусок белесого хрящика с кровавым обрезом (сухая капля заржавела на донышке), в легком волосяном пушке. С отвращением отшвырнул коробочку. Рвотный приступ удалось замять.

Все, — уже окончательно повторил он. — Прочь из этого сумасшествия. Своего хватает. Никого больше не искать, не спрашивать, не прощаться. К себе. К себе.

Он прихватил в зале свою куртку и сумку, огляделся еще раз в поисках неочевидной двери. Взгляд уже был подготовлен, дверь обнаружилась именно там, где ее можно было предположить для симметрии — прямо напротив той, что вела в служебную комнату. Опасение, что ее не удастся открыть, не оправдалось — достаточно было нажать.

За дверью оказался не коридор и не холл, а что-то вроде переходного, довольно длинного тамбура с тусклыми плафонами на низком потолке. На выходе была еще одна дверь. Потянуло ускорить шаг, убедиться, что и она не заперта.

Неожиданно приятным запахом дохнуло на Зимина. Это был запах оранжерейной зелени, свежей воды и чего-то еще, полужнакомого. Переход вывел его, как можно было понять, в другое здание. Перед ним была длинная светлая галерея; по правой ее стороне шел ряд дверей, слева, внизу, ярко голубела среди зелени вода бассейна. Плеск воды ли, приглушенный ли шум голосов вызывал ощущение многолюдной, но скрытой от взгляда жизни. Возле одной из дверей стояла тележка со сменным постельным бельем и принадлежностями для уборки.

Зимин огляделся, нет ли поблизости кого. Ему хотелось проскользнуть по галерее как можно более незаметно, пока не появился никто. Как время назад было желание найти хоть живую душу, чтобы спросить дорогу, так сейчас хотелось избежать всякой встречи, соприкосновения. Он представил со стороны, каким чужеродным, вызывающе нелепым был здесь сам его вид — небритого, с курткой на руке, в этих кроссовках и старых джинсах, где в промежности можно было, присмотревшись, обнаружить умело вставленную, почти незаметную заплату. Выпуклые номера на дверях были позолочены, серый мягкий палас скрадывал звук шагов — но чьи-то голоса уже приближались. Он ускорил шаг и с облегчением увидел лестницу, уводившую от галереи.

Внизу было подсобное помещение. Вдоль стен стояли ровными штабелями картонные продуктовые коробки, пустые цинковые лотки. Запах близкой кухни из открытой напротив двери объяснял их назначение; но идти туда имело меньше всего смысла. Осмотревшись, Зимин обнаружил другую, невзрачную дверь. Обмазанная красной краской лампочка горела над ней, обещая дежурный выход.

Он потянул ручку — и, едва войдя, понял, насколько ошибся. Свет, снаружи лишь обозначенный, здесь разливался теплым розовым полусумраком. Под настенной лампой у дальнего зеркала спиной к вошедшему сидела женщина, подкрашивала лицо. Она обернулась.

— Извините, — пробормотал Зимин. — Я думал, здесь выход... ошибся. А где?...

— Вы сами пришли, — женщина поднялась навстречу. — А я как раз собиралась к вам...

Он с недоумением всматривался в недорисованное, совсем не знакомое лицо, но уже узнавал голос, и эту косынку, и халат невнятного в розовом освещении цвета.

— Я вам приносила кофе, — улыбнулась Сана чужими, ярко-черными губами. — Только не захотела мешать. Вы были так поглощены работой. Совсем как он. Я со спины смотрела — ну прямо, как он. А у нас уже скоро смена, теперь мне надо быть здесь. И сюда звонок даже не проведен.

— И звонка, значит, нет, — качнул головой Зимин. — Я ведь мог вас и не найти.

— Как вы могли не найти? — не поняла она. Как будто эти люди здесь предположить не могли, что он не отыщет, если захочет, дороги, пройдет мимо единственно нужной двери. Не объяснять же ей было, чем он раздражен, разочарован на самом деле. Слово не освободился от чего-то неотвязного, безотчетно застрявшего, не сумел проскользнуть незамеченным, как надеялся только что. Пусть чувствует себя виноватой за то, что сама не пришла.

— Хотите выпить? — спросила она.

Зимин увидел у боковой стены небольшой бар с рядами неосвещенных бутылок. В угол вписан был мягкий диван с кожаной темно-красной обивкой, перед ним был низкий стеклянный столик. Легкая занавеска прикрывала дверь в соседнюю комнату.

— Если бы это помогло придти в себя, — помотал он опущенной головой.

Усталость от пережитого за день вдруг на него навалилась. Он подошел к дивану, сел. Расслабляющая мягкость передалась от дивана всему телу. Прежде, чем уйти, надо было здесь посидеть. Выпитого время назад оказалось, увы, недостаточно,

установить желанную отчетливость, трезвость чувств так и не удалось. Только не засыпать, — предостерег себя он. — Только не засыпать, вот что может обернуться невесть чем.

— То, что там пили, да? — по-своему поняла Сана.

Прежде, чем направиться к бару, она вернулась к зеркалу, наклонилась перед ним, несколькими тщательными движениями что-то поправила на лице, растерла губой по губе помаду. Отражение встретилось в зеркале с его взглядом — показалось, что беленое лицо ее зарозовело, глаза вспыхнули. Разогнувшись, она сняла с головы косынку, встряхнула высвободившимися каштановыми волосами. Давнее памятное очарование было в этом движении — движении женщины, которая продолжала чувствовать мужской взгляд. Вскинутые руки обнажились, она еще задержала их у головы, чтобы приподнялась грудь. Чуть тронула там-сям щеткой, проверила ладонью. Волосы были недлинные и улеглись хорошо. Так же оставаясь спиной к Зимину, она стала расстегивать пуговицы на халате. Вначале ему показалось, что она осталась в черном нижнем белье. Это был, однако, наряд из тех, которые прежде называли бы рискованными: короткое, на бретельках, платье, полупрозрачное кружево на груди. Обула черные, на высоком каблуке, туфли, провела ладонями по талии и бедрам, обтягивая платье. И только потом подошла к бару, издали показала ему большую квадратную бутылку, спрашивая подтверждения. Молчания оказалось ей достаточно.

— Извините, — сказала она, подходя, каким-то изменившимся голосом. — Смена уже скоро, а я еще не готова.

Поставила на столик две конусообразных рюмки, сама села рядом.

— Вы курите?.. Ах, да, я уже это спрашивала.

Зимин молча протянул руку, взял сигарету. Она поднесла ему зажигалку, сама с наслаждением закурила.

Куда девалась ее недавняя почтительная робость? В движениях, интонациях проявилось что-то новое. Лицо все же до конца так и не было выявлено, краска покрывала его ровно, как недоработанный подмалевок, глаза и брови еще не обведены — не успела или забыла. Выражение его он мог скорей лишь угадывать.

— Он что, с вами тоже пил? — спросил Зимин.

— Кто? А!.. Что вы! — Она затаилась и, прикрыв глаза, выпустила дым кольцами, повторявшими очертания ее выпяченных губ. — Он не пил. И мне на той работе не полагалось. Я просто была по отделу обслуживания. Вроде санитарки. Поговорить он со мной, конечно, любил. Особенно когда я вывозила его погулять. То есть, сперва и вывозить было некуда, кругом шло строительство. Но когда впервые разрешили показать ему зимний сад — вы видели — как он обрадовался! Он еще думал, все это по его идеям.

— Здесь что, больница была или заведение в этом роде? — спросил Зимин.

— Можно сказать, в этом роде, — согласно кивнула она. — Раз вы так выражаетесь.

— А написано «Комбинат».

— Это конечно, — подтвердила она, не находя тут противоречия.

— Я встретил у него еще слова «Центр возвращения», — не удержался писатель. — Это для возвращенных к жизни, так мне подумалось?

— Вы так хорошо умеете выразить. Меня, можно сказать, тоже вернули. Здесь вначале все было по его идее. Так он мне говорил. Собирали таких, как я, как этот Бабай. Я знаю, Бабай все рвется вам рассказать, что тут теперь творится на самом деле. Подстерегает вас где-то, у выхода. Сюда, в здание, ему не положено. Я его с этими инвалидами провела ради поминок, с заднего хода. Такой день, комбинат пустой, никто увидеть не мог. Все-таки однополчане. Им хотелось отметить на его месте.

— Место как раз подходящее, — подтвердил для себя с усмешкой Зимин и пригубил из рюмки.

— В каком смысле? — спросила она и, не дождавшись пояснения, пригубила вслед за ним. — Но я не знаю, стоит ли вам этих инвалидов слушать. Что мы тут можем понимать? Мы нездешние, нас сюда привезли. Его тоже, но он мог считаться на особом положении. Его мозги, идеи, первоначальный проект начальству были нужны. Так он думал. Под это шли большие деньги, международные. Но кто здесь начальство, кто распоряжается действительно на самом верху, он тоже не знал. Они, может, вообще не здесь, до них не добраться. А ближний, непосредственный персонал тем более ничего нам не объяснит. Не хотят или сами не могут. Расписан порядок для повседневной работы: права, обязанности, кому куда можно, куда не положено. Но даже про это мы иногда узнаем, если нечаянно что нарушим. Или когда повесят приказ, что какие-то права отменяются. Про которые мы и слышать не слышали...

Зимин сидел, борясь с желанием прикрыть глаза, пальцами свободной руки прижимая висок. Голос женщины бился под пальцами вместе с жилкой. Не поддаваться, — напоминал себе он. — Не закрывать глаз. Расслабляться дальше будет опасно.

— Никогда прежде не думал, можно ли так жить, — сказал он. — Не знать, что делается скрытно — если бы просто от глаз — от понимания. Кто чем заправляет, по каким законам. А ведь можно, выходит.

— Да, — тихо сказала Сана. — У вас, конечно, не так.

— Что значит «не так»? «У вас»? Живем, как живется, значит, этого для жизни достаточно. А понимаем, не понимаем... Если удастся жить в пределах своего понимания, большего мы ведь не хотим. Что-то мне примерно в таком духе писал ваш Зимин. Большого, может, не вынести, вот в чем загвоздка.

— Да, — откликнулась Сана. — Он про вас так именно говорил.

— Что? — насторожился писатель. — Что он про меня говорил? — повторил он с начинающимся раздражением.

— Что вы умеете... в пределах понимания, — смутилась она. — А я, говорит, видимо, не сумел... Я, может, неправильно передаю слова. Но что какое-то предчувствие у него было, это я знаю. Буквально за день перед тем — я как раз возила его по галерее — он попросил, чтоб я поправила ему плед, и когда наклонилась, сказал на ухо чуть слышно — громко он уже опасался. Если услышишь, сказал, что меня нет, позови того Зимина. Он, знаете, что говорил про вашу книгу?..

— Про книгу не надо, — прервал ее поспешно Зимин. — Книги нет. Все. Какой может быть о ней разговор? Вы ее, как я понимаю, не видели. И сам я, представьте, тоже... А что произошло на другой день?

— На другой?.. А, — поняла она. — Мне позвонили, в ту еще мою комнату. Когда я пришла, там был молодежь такой человек, в кожанке. Не знаю, как зовут. Без усов, но с бородкой. Сказал, что Зимина нет. И все. Я еле на ногах устояла. Но спрашивать ведь не могла, вы понимаете. Как спрашивать? Неизвестно ведь, как он ответит. Дал мне ключи, чтоб я потом прибрала. И сказал, что у меня теперь будет новая работа. Как раз с сегодняшнего дня. Вот...

— И никакого подтверждения, кроме этих слов?

— Как? — переспросила с испугом Сана...

Где-то заиграла вдруг тихая музыка. Зимин встряхнул головой.

— Начинается ваша смена, — понял он. — В самом деле, пора. Пора... Знаете, я сейчас не хотел прикрывать глаза. Но прикрыл все-таки, не удержался. И что? С вами так говорить даже лучше, вот ведь, оказывается. Пока я смотрел на ваше лицо, оно мне мешало. Оно для меня было как бы не совсем настоящее. Надо было его еще дорисовать. Как многое другое.

— Дорисуйте, — сказала она дрогнувшим голосом.

Зимин попытался встать, но почувствовал, что не может преодолеть притяжения расслабляющей мягкости.

— Дайте мне, пожалуйста, руку, — попросил он.

Она помогла ему встать. Его слегка покачнуло к женщине, он не сразу установил равновесие. Сана придержала его правой рукой за плечо, но и левую не выпустила. Некоторое время они стояли так. Зимин подумал, что сейчас надо будет высвободить руку, но перевести это желание в усилие не сумел.

— Где это играют? — спросил он.

— Там, в зале... А вы, правда, могли бы меня дорисовать? — задышала ему Сана в лицо. — Я ведь той, прежней своей жизни совсем не могу вспомнить. Только иногда... какие-то сны. Или когда слушала про вашу книгу и думала: да, ведь так у меня было. Он говорил: о своей жизни вообще знаешь, наверно, меньше, чем со стороны. Правда? Ваше знание, говорил, больше.

— А его, значит, просто никто больше не видел? Но что если тот человек в кожанке вам не сказал правду? — вдруг вырвалось у него.

— Конечно, — согласилась она покорно. — Это как вы скажете. Зависит от вас. Потому вас все так здесь ждали.

— Если Зимин где-то еще есть? — не удержался от продолжения он.

— Вот же вы, — согласилась она едва слышно.

— Вы не так мои слова поняли, — качнул головой он — и словно опомнился. — Но будем считать, что этим и надо удовлетвориться, да? Все равно дальше не проникнуть, лучше и не пытаться. А то ведь, глядишь, отсюда еще не выберешься. И не вернешься. Не буду вам пояснять своих слов.

— Я понимаю. Я сама знаю, — Сана прижалась к его плечу мокрой от слез щекой. — Вы сейчас все равно уедете. Куда-то к себе, в свою жизнь. Исчезнете для нас окончательно. Я понимаю, так должно быть. Так надо. Но пока вы еще здесь, никто

больше сюда не может войти. Еще немного, еще чуть-чуть, ладно? Знали бы вы, как я о вас думала! Какие вела с вами разговоры! Когда человек близко, на самом деле, с ним действительно говоришь по-другому. Я понимаю, что вы сказали. Может мешать какой-нибудь запах, сбивать всякая мелочь. Но когда увидела вас сейчас в зеркале, поймала ваш взгляд — это было такое настоящее! Я чувствовала, как становлюсь от этого взгляда другой. Что-то со мной происходило. И вот — теперь чувствую ваше тепло. Кто, кроме вас, мне может быть нужен?..

Рука ее лежала на плече Зимина, голова опущена на другое. Туфли прибавили ей роста. Волосы пахли горьковатой черемухой у реки, весенним головокружением — и чем же еще? Оба они переминались под музыку, не обнимая друг друга.

— Мы что, танцуем? — спросил Зимин.

— Танцуем, — как эхо, подтвердила она.

— Но я совсем не умею танцевать. Жена говорила, что я совсем не умею.

— Что же это такое?

И правда, — подумал Зимин. — Что такое танец, как не вовлеченность в ритм, общий хотя бы для двоих?

— Вам знакомо, наверное, это чувство, — сказал он. — Когда не можешь вспомнить что-то важное. И мучаешься невозможностью. Кажется, именно этого тебе не хватает. Наконец, вспоминаешь все-таки. И оказывается, это был совершеннейший пустяк, стоило ли так мучиться? Но все равно облегчение. Не мог, знаете, вспомнить, чем пахнут ваши волосы. А ведь я этот запах описывал. Когда голова от него кружилась. Мы смотрели с моста на ледоход.

— Да, еще бы! Я помню. Ледоход был у нас праздником, все выходили на берег. И воздух был, вы помните, какой сладкий?

— А как весной язык немел от черемухи?

— Мы ходили по улице и держались за руки, даже если просто шли в магазин.

— Счастье прикосновения.

— И рисовали дождевой водой по стеклу, никто, кроме нас, не видел.

— Жена смеялась надо мной, когда слушала. Что ты, говорила, придумываешь, особенно насчет женщин? А ведь в ней меня в самом деле когда-то все восхищало. Даже эта недоступная мне практичность, интерес к вещам, к разным тряпочкам. В этом ведь может быть особая прелесть.

— Еще бы! В детстве это бывает чудом, правда? Примериваешь старую занавеску, ажурную, в дырках, и видишь себя принцессой в белом наряде. Или найдешь совсем какую-нибудь дурацкую хламиду, волосы уложишь, вертишься перед зеркалом: я кинозвезда. И думаешь: есть ведь где-то такая жизнь, должна же она где-то быть. И принцессы есть.

— То-то и оно, это не совсем наша выдумка, так я себя и оправдывал. Если тут и миражи, они порождаются не просто чьим-то беспомощным воображением. Так нужно самой природе — на время, о да! Чтобы взять у бедных, обреченных, очарованных существ нужное ей... зачем? Наше дело догадываться, обманываться, искать слова.

— Я ведь без вас теперь не смогу, — бормотала она ему в плечо, сглатывая новые слезы. — Как только его не стало, меня начали мучить вдрут ужасные сны. Я несую

в какой-то вонючий хлев помои свиньям, каждую знаю по имени. И так промозгло, так холодно! Кости ломит. Мужик наваливается, душит, изо рта сивухой несет. Но я ли это? Когда меня, как вы говорите, вернули, я долго не могла даже красок вспомнить. Все оставалось бесцветным. От его слов только они начали возвращаться. Все становилось опять ярким, отчетливым: небо, цветы. Даже асфальт ярко-серый, а в нем трещины, и муравьи снуют — как у вас, да? Он мне так и рассказывал. Если бы вы могли меня взять с собой! — приподняла она лицо, задышала ему в подбородок. (Я ведь побриться забыл, не успел, — вспомнил почему-то Зимин). — Я бы ни на что не претендовала, ничего от вас не просила, вы не думайте. Я бы зарабатывала. Я бы все для вас сделала, что вы скажете. Для себя мне бы ничего бы не надо, только если вы захотите сами. Как подумаете обо мне, я буду под рукой, а так — всегда можете считать, что меня нет. Я не обижусь, наоборот. Только бы знать, что вы есть, думать о вас. А вдруг даже и ревновать — какое нужно еще счастье? Но чтобы вы не знали. Ведь вам тоже нужно, я чувствую. Вы седой, но живой. Да? Я так чувствую... Я еще родить могу...

Зимин в самом деле ощущал в себе невольно оживавшее напряжение. Вот ведь как просто его поворачивало! А ведь только что говорил себе: не поддавайся. Как будто не знал этих ловушек жизни. Ей хотелось, чтобы ты остался, а не останешься — чтоб взял ее с собой. Так просто... Смотришь на женщину: такая слабая, неуверенная. Так покорно подтверждает твои же слова, даже если они противоречат одно другому. Не то что откликается — поддается чуть ли не движению твоей мысли. Но почему-то оказывается, что именно эти слова, эти движения ей-то и были нужны, противоречия ее не смущают, все получается, как она хочет. И приезжаешь куда-то, потому что она это устроила. Одну дверь запрет, другую откроет, а ты идешь, не гадаясь, куда...

Сквозь закрытые веки он ощутил прибавление света. Открыл глаза. Свет зажегся за дверью в соседней комнате. Занавеска оказалась прозрачной, там на кровати сидела полуголая дородная великанша, почесывалась, зевая, под грудью...

— Ведь можно, да? Правда? — Сана подняла на Зимина заплаканные глаза. Осветившейся комнаты за спиной она не видела. — Если я буду с вами, меня пропустят. С другим не пропустили бы, а с вами даже документов не надо. Вы только на катере скажете, когда спросят: что я с вами...

Великанша из освещенной комнаты, прищурясь, всматривалась в их сторону, наконец, поняла, что там люди. Потряхивая грудями, она подошла к двери, задвинула непрозрачную штору. Жаркий телесный запах распространялся через перегородку...

— До катера мы пойдем врозь, так лучше, чтобы нас никто вместе не видел, — дышала она ему снова в лицо. Глаза ее были размазаны слезами, само лицо расплылось. — Вот тут, сбоку, есть отдельная дверь, через нее сразу выход... только нет, пожалуйста, не оглядывайтесь, — теперь она совсем шептала. — Вот, сейчас повернемся, чтобы увидели... там, за баром... делайте вид, что ничего не произошло. Пробрался все-таки, ненормальный. — Улыбка и тон ее не соответствовали смыслу этого шепота. — Я вам говорила, связываться с ним не надо, что бы он ни выкинул. Сама его

задержу, отвлеку на себя. А вы не обращайтесь внимания, поскорей идите. Там встретимся. Все еще будет, да?..

Медленно повернувшись с ней в танце, Зимин увидел, о ком она говорила: Бабай прятался за боковой стенкой бара, почти вжавшись в нее. Поняв, что его обнаружили, он вышел из укрытия.

— А ты думала, разведчик не сумеет пробраться? Честь имею! — козырнул он, изображая что-то вроде дурачества. Он не совсем еще был, видно, уверен, что тут происходит и как тут себя вести. Но блеск его глаз выдавал болезненную возбужденность.

— А ты какого черта сюда без спроса сунулся? — неожиданным, каким-то базарным голосом одернула его Сана. — Разве можно, когда я не одна? Порядков еще не усвоил?

— Но-но! — немного опешил он. — Какие еще тут порядки? Свои же люди. Ты, что ли, уже напилась, не дождавшись?

— Напилась, не напилась, я тебе не подчиненная, — огрызнулась Сана. — А вот начальству сейчас про тебя скажу — знаешь, какое тебе место найдут?

— Чего? Ты это чего? — Бабай начал уже распалаться. — Ты с кем это разговариваешь таким тоном, блядь придорожная? Я тебя своими руками могу пристроить. Что ты ему говорила, думаешь, я не слышал?.. А ну-ка, сволочь, дохни!

Он потянулся рукой к ее подбородку — Сана, не дождавшись, смачно плюнула ему в лицо...

Что она делает? Зачем притворяется пьяной? — лихорадочно соображал Зимин. Чуть обернувшись, она сделала ему знак бровями: не вмешивайтесь, идите. Отвлекает на себя этого усатого, — убедился он. — Чтобы дать мне возможность уйти без разговоров, не ввязываясь, не выясняя еще и этого. Она все устраивает сама...

Появление Бабая что-то для него вдруг облегчило. Он знал, чего на самом деле смутился. Поведение женщины выглядело демонстративным; вмешаться — значило лишь что-то испортить, усугубить положение. Бабай схватил ее за кисть руки, намереваясь вывернуть, она сумела, однако, вырваться и выбежала в коридор. Грохот падающих жестяных лотков донесся оттуда.

— Куда? — прикрикнул Бабай — и в нерешительности оглянулся на Зимина. — Сейчас... Вы не обращайтесь внимания. Мы с ней в момент разберемся... будьте спокойны. Только подождите тут, я в момент...

Он не сможет с ней ничего сделать, она там не одна, — окончательно решил Зимин. Но неужели она все-таки и впрямь постарается со мной уехать?..

## 7

Как будто его время назад подвезли действительно с заднего, что называется, двора, отгороженного от лицевой стороны бетонной стеной, и надо было замусоренными задами добираться до черного хода, называемого служебным, чтобы, пройдя сквозь невнятные внутренности, выбраться через другую дверь не просто на незнакомую улицу, в совершенно другую местность — в новый, с другим запахом, воздух.

Аккуратная небольшая площадь окружена была невысокими, старой постройки, домами, носившими следы свежего, еще пахнущего краской ремонта или строительства. Стены были ровно, очень красиво оштукатурены и выкрашены в пастельные цвета: розовый, салатный, светло-желтый. Стекла витрин на первых этажах по большей части замазаны белилами, но вывески над ними уже были готовы, крупные, яркие, некоторые почему-то иностранными буквами: «Kafe Amalia», «Сувениры». Занавески, шторы на верхних окнах и даже горшки с цветами подтверждали их как будто бы жилой вид. За одним стеклом белело лицо, кто-то неотчетливый смотрел на площадь. Лишь справа еще не убрана была земляная насыпь, за ней, где-то в невидимом котловане, возобновила гроыхание работающая техника.

Зимин оглянулся. Фасад здания позади отделан был блестящим сплошным пластиком и такого же цвета затемненным стеклом. Сквозь него слабо просвечивали внутренние огни, совмещаясь с отражением неба и всей площади напротив, но число этажей по этим неравномерно размещенным огням не так просто было определить: то ли четыре, то ли пять. Из какой двери Зимин только что вышел, тоже сказать было трудно. Высоко наверху без надобности светилась среди дня красная неоновая надпись: «В экскурсии — сила».

Воздух можно было считать уже вполне прозрачным, но солнце все-таки оставалось закрыто пеленой или дымкой, его местоположение лишь угадывалось по более освещенной стороне неба.

Что-то неестественное было в этом чистеньком, непривычном виде, в каких-то нездешних фасадах, в этой безлюдности, в самом освещении. Что-то от декоративного макета, еще не вполне законченного для намеченного действия: еще предстояло перерезать ленточку и допустить участников или зрителей. Люди были видны лишь поодаль, на улице, начинавшейся прямо от площади. Вот улица выглядела отсюда вполне узнаваемой: с разбитым асфальтом, обшарпанными стенами. Выход же на нее был и впрямь загорожен — пусть не ленточкой, а бечевкой, подвешенной между двух стоек. На ней болталась картонная табличка тоже со знакомой, хотя и не совсем понятной надписью: «Спецобслуживание». Почему-то она обращена была в сторону пустынной площади. У ближней витрины стояли двое парней в пятнистой форме, с современными представительскими карточками на груди, о чем-то переговаривались. Один, прислонившийся к фонарному столбу, оглянулся через плечо на Зимина.

Наклон улицы вниз несомненно указывал направление к реке, спрашивать дорогу тут не было надобности. Не хотелось не только заговаривать, но вообще соприкасаться со здешними обитателями. Было чувство, что это может лишь замедлить и даже затруднить возвращение — единственное, чего Зимин нетерпеливо теперь жаждал. Параллельным безлюдным переулком, который начинался тут же, левой, спуститься будет если не ближе, то во всяком случае надежней и проще, — решил он. Так всегда казалось проще перелезть через забор, чем войти в приглашающе открытую для тебя калитку...

Чего он не ожидал: что квартал по соседству с оживленной парадной улицей окажется не просто безлюдным — безжизненным. Окна двухэтажных в основном домов, каменных, иногда с деревянными надстройками, зияли пустотой; на некоторых

еще отблескивали осколки разбитых стекол; нижние были заколочены досками. Двери оставались заперты, но проникнуть внутрь вряд ли составляло проблему. Стены местами были черны от копоти — кто-то, видно, баловался огнем; один дом выгорел изнутри и вовсе основательно, однако дальше пожару не дали распространиться. Предназначалось ли здесь все целиком на снос, начиналась ли частичная, но так и не продолженная реконструкция? Никаких признаков работы не было заметно.

Лишь кое-где дома и дворы огорожены были дощатыми строительными заборами. Но и они оказались отчасти закопчены. Как всегда, не упущена была возможность запечатлеть на пустых плоскостях надпись. «Эксы горилы дрожите мудилы», — читал попутно Зимин. «Где совершенства красота, там истины живет творенье», — выведено было размашистой краской из белой брызгалки. А ниже, не так крупно, черным фломастером, приписаны стихи:

«Если хочешь жить о'кэй,  
Кулаком по морде бей.  
Как устанет бить рука,  
Начинай душить врага».

Еще дальше, простым мелом, значилось: «Я сделал 3 + бабу». И снова из белой брызгалки: «Иди по жизни просто и легко, вдыхая аромат свободы».

Местные счеты, местные премудрости, — отметил бегло Зимин. Мысль не желала задерживаться ни на непонятной цифре, ни на грамматической ошибке. Рожница с раскрытым зубастым ртом выражала то ли испуг, то ли недоумение; торчащие дыбом волосы составлены были из букв: «ЗАЧЕМ?»

Угнетающе действовала не просто пустыньность места, но омертвевшая беззвучность его. Ни голосов, ни шума близкой, казалось, улицы сюда не доходило. Не чирикали даже воробьи. Зимин уже начинал колебаться: не возвратиться ли ему, чтобы пройти все же по нормальной улице? Но свернуть к ней можно было, наверно, и по какому-нибудь следующему переулку, должен же был такой открыться дальше...

Ожидание не замедлило подтвердиться: из-за угла впереди выбежали двое парней, кинулись в разные стороны: один свернул направо и дальше за ближний угол, другой, в джинсовой куртке, нырнул прямо во двор напротив. Едва оба скрылись, как из-за того же угла появились сразу четверо. Эти были уже в синей форме, с настоящими автоматами в руках и даже в бронежилетах; лица были закрыты черными трикотажными масками с прорезями. Еще один, с телевизионной камерой на плече, сопровождал их трусой. Пока все остановились, озираясь, оператор забежал вперед. Теперь он продолжал съемки, пятясь.

Двое преследователей побежали направо, остальные повернули в сторону Зимина — и оператор с ними. Милицейская машина появилась следом из переулка.

Писатель едва успел посторониться, чтобы не мешать неизвестным съемкам, когда подбежавший первым (знак собачей морды на рукаве) схватил его за плечо, толчком развернул и подпихнул к стене, так что Зимин едва не стукнулся лбом.

— Руки за голову! Ноги раздвинь! Стоять! — гаркнул за спиной автоматчик и чувствительно ударил носком сапога по одной щиколотке, по другой — со второго раза попал прямо по болезненной косточке.

— Вы что...? — вскрикнул Зимин и не сумел договорить от боли. Он попробовал оглянуться — его ткнули в затылок так, что он все-таки чувствительно ударился лбом о стену. Грубые руки обхлопывали его грудь, плечи, бедра, ноги. Из нагрудного кармана вытащен был бумажник с документами и деньгами, с плеча сорвана сумка.

— Кто такой? Кого еще отловили? — слышался за спиной негромкий, но с интонацией начальственной, голос. — А ну, поверните его! Повернись, — повторил он для Зимина, хотя грубая рука уже опередила добровольное действие.

Перед Зиминим стоял человек в кожаной куртке, воротник клетчатой рубашки расстегнут. Моложавое лицо было румяным, узкая бородка без усов придавала ему вид не милицейский, скорее интеллигентный. Из-за плеча распорядителя уставлен был на Зимина объектив телевизионной камеры; машина стояла поодаль.

— Вы что?.. — сумел только повторить писатель, трогая пальцами ссадину на лбу. Она кровоточила. Полез в карман за носовым платком — автоматчик стукнул его прикладом по руке.

— Стоять! — напомнил он.

— Я не из вашей группы, — бессмысленно огрызнулся Зимин.

Распорядитель принял от человека в маске бумажник. Извлек из него паспорт, развернул. Правая бровь его удивленно поднялась. Повторялась уже знакомая мимика: взгляд из-под бровей сравнивал Зимина с фотографией.

— Вы действительно Зимин? — сказал распорядитель. — Тот самый?

— Не знаю, кто для вас тот самый, — мрачно буркнул Зимин, прикладывая, наконец, платок ко лбу. Кровь отпечаталась на нем. — Того самого считайте не существующим. Если он вообще когда-то существовал. А вы, что ли, режиссер этих бандитских инсценировок?

— Ну, это преувеличенные слова! — с деланным смешком возразил человек в куртке. — Отставить! — прикрикнул он на статистов в масках. — Все прекратить!.. — Вынул из нижнего кармана сотовый телефон, быстро набрал кнопками номер и, чуть отвернувшись, что-то вполголоса проговорил в него. — Не ожидал вас здесь встретить, — возвратился он к писателю. В любезном его тоне слышался оттенок смущения, как бы опасливой неуверенности. — Как вы сюда попали? Я и не знал. Вы же не с группой? Да что я говорю! И даже не предупредили. Вас бы не просто встретили, как положено. Тут обсуждалась возможность специальной программы, как раз на случай, если приедете. Тем более накопилось столько материала для обсуждения. Но так просто не ждали. День все-таки суматошный, видите? Надо подготовить то, се, подчистить для профилактики, обеспечить порядок. А вас сразу вон куда занесло! Ну, это по-своему тоже понятно. Писателя должно тянуть не на те улицы, которые для других, вы согласны с таким выражением? Другие ведь, то есть читатели, от него потребуют такого, чего в жизни, на себе, предпочли бы не испытывать. Как вы думаете?

— Я не совсем вас пойму, — Зимин потрогал двумя пальцами лоб: кровь уже почти не текла. — Вы занимаетесь здесь каким-то искусством? Или это у вас жизнь такая?

— Не всегда отделишь одно от другого, — засмеялся уклончиво человек в кожанке. — Иной раз смесь, я бы сказал, алхимическая. Потому и без накладок, увы, не обходится. Не знаю, право, как просить за них перед вами. Переусердствовали... совсем еще таким делам не обученные. Тем более у вас вид такой... — (Зимин невольно провел по щеке ладонью). — Простые люди смотрят, вы знаете, по внешнему виду. Что писатель для них, что не писатель — как различить? Они у нас за это получают, не сомневайтесь. Тем более если вы добавите необходимое слово. Любое возмещение можете требовать. Слышите? — повысил он голос для своих.

Те кучковались в сторонке, смотрели на них из черных прорезей. У одного самодельная, видно, дыра не была, как положено, обметана, нитка вылезла у глаза, и он подергивал головой, не понимая, что его раздражает. Сказать ему, что ли? — подумал Зимин.

— Нет, нет, — махнул рукой режиссер оператору, который не спускал с них свою камеру. — Перекур! Сейчас разговор не по вашей части. Занимайтесь пока своими делами... При нынешней технике все равно лучше тут лишнего не говорить, — пояснил он зачем-то вполголоса Зимину. Что-то, похоже, мешало ему в зубах, он все пытался среди разговора выдавить языком, может быть, волоконце мяса. — Да, так насчет реальности и, как вы говорите, искусства... — Он все-таки достал зубочистку и справился, наконец, с мешавшей штучкой в зубах. Удовлетворенно попробовал языком изнутри: справился. — Реальность в новом искусстве недостаточно, как вы говорите, просто увидеть, надо ее создавать.

«Где это я говорил?» — вскинул вопросительный взгляд на режиссера Зимин. Тот все более расходился. Ему стало ясно, что неприятностей от писателя можно не опасаться, а воспользоваться случаем для разговора на профессиональную тему хотелось. В голосе его звучала уже этакая артистическая вальяжность.

— Ну, вот, скажем, мы снимать предполагали вообще не здесь, для съемок определено другое место. У нас специально выделен, как вы знаете, полигон, в том числе для попутных художественных экспериментов. Там и обстановка освоена, и персоналу проще ориентироваться. Чтобы не выяснять каждый раз заново, где преступление, где наказание, где, черт возьми, профессиональные обязанности. Все должно решаться по ходу дела, естественно, без умственных рефлексий. Но когда подворачивается неожиданная натура, тоже бывает жаль упускать. Тем более если она, как у нас говорят, уходящая. А она не просто уходит, но все время растекается, расплзается, просачивается туда, где ей быть не положено. Надо пользоваться. Порядок пусть наводят, кому положено. Но вообще-то удерживать происходящее в разумных границах становится все менее возможно. Даже проконтролировать, уследить не удастся. Что, рвы рыть, мины ставить, колючую проволоку натянуть по всему периметру? Кто-то уже предлагал собак выписать. Но это все не художественные, как говорится, проблемы...

— Я все-таки не могу понять, — еще раз дотронулся до лба Зимин, — вы мне какой-то свой сюжет рассказываете?

— Сюжет, ну, конечно же, вы вовремя это уточнили! — словно обрадовался удачно подсказанному слову режиссер. — Хотя своим называть его у меня даже в мыслях не было, что вы! Я, может, сбивчиво излагаю. Потому что одновременно тут и реальная ситуация. Жизнь подбрасывает такой материал, такие фантастические развороты — придумывать не приходится. Катастрофические районы, как вы знаете, множатся, отовсюду устремляются к нам. Любыми путями, в обход правил, постановлений, законного отбора. Откуда они про это место прослышали, что? Не в газетах же прочитали. Ну, соответственно кому-то выплачивают проездные, подъемные. Созданы, как обычно, разные учреждения. Масса людей при них кормится. А где много денег, там без спекуляций не обходится. Ну и так далее. Скучная, неизбежная повседневность. Действительный сюжет для нас начинается, когда возникают счеты, конфликты. Жизнь перестраивается, как вот этот квартал, перемены к лучшему очевидны, но ведь на промежуточном этапе они происходят неравномерно. Все оказываются в разном положении. Кто свое успел получить, жалуется, что незаконные дармоеды им на шею садятся, преступность разводят. Начинается борьба за порядок, за справедливость... Вам скучно слушать такие общеизвестные вещи?

Зимин неопределенно пожал плечами. Ему в самом деле хотелось уже скорей покончить с этим ненужным, не относящимся к нему объяснением. Но было в нем что-то и успокаивающее.

— Я понимаю, конечно, для вас это еще не сюжет, — удовлетворился отсутствием реакции человек в кожанке. — Исправлять жизнь — не наша задача, правда ведь? Для художника, как вы показали, любая действительность оскорбительна и неправомерна. Морализировать бессмысленно. Мир не лучше и не хуже нас. Понятие нормы мутирует. То, что казалось недавно откровением, выглядит вдруг смешной пошлостью. Вы ухватили самую суть. Не я же все это придумал. Бессмысленно, в самом деле, рассказывать, например, этим гориллам, какой я в личной жизни добрый семьянин и как меня воротит от их непотребств. Но вот, мы оказались поставлены в отношения, когда они мне должны подчиняться. Можно назвать это правом художественной условности, есть у вас такое выражение? Никому, кроме художника, не могла бы прийти в голову идея психкомбината или, как вы называете, психодрома по полной программе, на уровне мировых достижений. Нам ведь не то что в будущий век входить — в новое тысячелетие...

— Послушайте, — наконец, спохватился Зимин, — к чему вы все время меня приплетаете? Причем тут мои идеи? Какой психкомбинат? Какой психодром? Я не писал ни о чем подобном. А если какие-то слова употребил походя, значения они для меня не имели. Слова эти были вообще не мои.

— Ну, пардон, я может не так выразился, — без смущения признал режиссер и согласно выставил перед собой ладони. — Я чувствую, вы просто, может, не со всем здешним разворотом успели освоиться. По-человечески эта жизнь нам может не нравиться — и кому она нравится? Вы тоже ее не придумали, я же не настаиваю. — Он осторожно посмотрел на Зимина, точно ожидая опровержения. — Я с вами говорю сейчас как с художником. С кем же еще? Возьмите, например, это современное отношение к катастрофам. С одной стороны, техника позволяет и демонстрировать, и воспринимать их как впечатляющее зрелище, да? Ведь и прежде, скажем, войну

можно было считать элементом необходимой жизненной игры. Игра, как вы замечательно показали, одно из ключевых слов. Но что значит подключиться к ней непосредственно? Устраивать что-то вроде экскурсий для разогрева жизненных чувств? Даже организаторы там, наверху, не ожидали, что проект окажется таким привлекательным. У нас его так и называют: проект Зимина. Сперва думали опробовать, как эксперимент. И рекламы никакой специальной не было. Разве что, как вы говорите, на художественном уровне... Нет, молчу. Не сочтите за дешевый комплимент... редкая все же возможность — поговорить с живым автором. Но ведь рвутся сюда люди, рвутся, и ноздри, посмотришь, прямо дрожат от возбуждения, как всегда в прежние времена на охоте. Здесь, говорят, получаешь такой заряд, что на несколько лет хватит. У многих, говорят, потенция повышается. Побыв у нас, начинают детей рожать. Причем подделку, эрзац им не подсунешь. Из разряда вторичного, так сказать, искусства. Они ноздрей этой своей чувствуют, экраном их не накормишь. Миру, оказывается, не хватает чего-то такого, что вырабатывается только у нас, в таком качестве и масштабе, не говоря о художественном измерении. А мы сами не сознаем, не чувствуем, какую это имеет цену. Как, может, насекомые не сознают, какую они вырабатывают волну или запах. Не нарочно же, в самом деле. Мы ведь привычно стонем, жалуемся на свои страдания. А надо пользоваться и страданиями, как подлинным своим богатством, добывать из него новую силу. Пока источники еще не иссякли. Мало ли как дальше будет. Такой художник, как вы, приходит именно здесь к главному: чтобы достичь чего-то на высшем уровне, страдать надо, страдать...

— Ну, это уже совсем черт знает что! — не выдержав, взорвался Зимин. — Вы что, и это у меня прочли?

— А у кого же? — не понял его возмущения человек в кожанке. — Великая мысль!

— Может, и великая, но не моя. И поняли вы ее как-то превратно. Все, что вы говорите, ко мне отношения вообще не имеет. Переиначено понаслышке, не знаю, кем, перемешано с чужими идеями. Какая-то бредятина, извините.

— Нет, я, разумеется, не настаиваю. Хотя немного странно, почему вы так закипаете. Впрочем, известное дело. Автору, говорят, тоже не всегда все у себя видно. Другие имеют право расширять смысл, разве нет? Тут у нас, знаете, объявился один деловой тип, говорит, близко вас знает. Так он предложил учредить даже специальный приз вашего имени, за особые достижения. Лысый такой, круглоголовый... забыл фамилию... Сейчас спрошу...

— Не надо, — оборвал резко Зимин. — Еще мне этого не хватало! Придумывать от моего имени!

— Нет, за разрешением к вам обратятся, не сомневайтесь, — по-своему понял его человек с бородкой. — Авторские права для нас святы.

— Я сам еще напишу об этом, — сказал Зимин, как показалось ему, с угрозой. В былые времена таким обещанием можно было действительно припугнуть. Но тут же почувствовал, что действие произвел обратное.

— О! — расплылся режиссер в широкой улыбке. — Я даже заикнуться не решился об этом. Такая честь!.. Слушайте, раз камера уже здесь, может, сразу возьму у вас интервью? А? Садину мы подмажем, не волнуйтесь, никто не заметит. А лучше

даже не замазывать, такой ваш вид будет даже выигрышным. Почувствуют, каких вы здесь уже набрались впечатлений. Эй, где камера?..

— Нет, — сказал Зимин. — Мне пора уезжать.

— Вы разве уже спешите? Но теплоход еще не скоро, — он посмотрел на часы. — Еще есть время.

— Нет, — повторил твердо Зимин. — Только сумку верните.

— Сумку? Какую сумку? — не понял режиссер. — У вас была сумка? Кто ее взял? Кто взял сумку? — крикнул он и перевел взгляд с одного на другого. Те размножили это движение, оглядываясь друг на друга. — Ну, знаете! Если и в вашей команде есть такие... Вы не беспокойтесь, — обернулся он к Зимину. — Сумку мы вам найдем и доставим в полной сохранности. Сегодня же. Если вы, конечно, немного задержитесь. А виновник поплатится. Здесь не должно быть ни малейшей преступности. За что же мы боремся?.. Вот, — он увидел, что в их сторону уже волокли кого-то пойманного. Это был парень в джинсовой куртке. Бросили на землю неподалеку, ожидая, пока начальник освободится.

Режиссер поморщился, сейчас ему это было некстати.

— Что другое, а преступность будет искоренена, — сказал он, как бы объясняя. — Пусть не полностью, но в меру возможности и, главное, необходимости. Здесь проект мирового значения...

— Как мне теперь пройти к пристани? — перебил его Зимин.

— Вы все-таки решили?.. Ну, это ваше право. — Режиссер все же чувствовал облегчение от возможности покончить с не вполне понятной ситуацией. — А насчет сумки — оставьте, что ли, заявление. Или просто адрес. У вас визитная карточка есть? Ну, я понимаю, вы себя не хотите афишировать. Да мы вам и так, сами пришлем, непременно. А моя — позвольте вам вручить. — Он вынул карточку из нагрудного кармашка, с любезнейшей улыбкой передал Зимину. — Не в последний раз, надеюсь непременно еще увидеться. А на улицу вот здесь, переулком, там через ворота и выйдете, это два шага. Я поручу вас проводить... Ну, как хотите. До встречи. Оревуар...

Человек, стоявший у проходных ворот, проводил Зимина равнодушным взглядом. Дежурил ли он здесь? Форма не выделяла его среди прочих.

Словно бы обострилось чувство, что улица, на которую он вышел, выгорожена была для демонстрации обычного течения жизни — той, что могла бы прежде казаться ему действительно естественной, нормальной. Он с недоверием смотрел на людей, проходивших мимо. Они смеялись, о чем-то беседовали между собой, останавливались перед витринами. Две девушки, смеясь, ели мороженое, одна облизнула свою порцию языком, лукаво покосившись на Зимина. Как будто попросту не существовало происходившего сейчас же, вот там, в переулке, за ближним углом. Ему еще слышались оттуда голоса, крики — для них они не звучали.

Что-то искусственное, недостоверное было в этой обыденности. Транспорт по улице не ходил, здесь было торговое оживление — пешеходная зона. На облезлых, требующих ремонта стенах заплатами из другого материала выделялись свежескрашенные участки иногда с пристроенными порталами, вывесками, облицовкой из полированного камня. У некоторых магазинов на тротуары выставлены были стойки

с одеждой, лотки с разнообразными товарами. Зимин вдруг поймал себя на том, что безотчетно выискивает взглядом книжный магазин — словно еще на что-то надеялся, словно это еще могло что-то значить. Какие случайности, житейские совпадения могут повернуть жизнь невесть куда! Упустил простенькую возможность пойти по другой улице, вовремя спрятаться за углом. И думал бы: со мной этого не может быть. Не должно.

Как я его припугнул: напишу! — усмехнулся он над собой снова. — А если в самом деле, вернувшись, попробую написать об этом? Раньше думалось: надо же что-то сделать — и что я еще могу? А теперь — какой это может иметь смысл, какое может произвести действие? Даже если прочтут. Нет, главное, написано-то будет не об этом... До чего-то я все еще, боюсь, не добрался...

Он не мог понять своего состояния. Площадь, недавно покинутая, светилась неопределенным пятном в конце улицы; неоновая реклама экскурсий краснела на пластиковом фасаде. Непрозрачная белизна заменяла, как прежде, небо, понемногу тускневшее.

Небольшая очередь перед бочкой с квасом заставила Зимина ощутить жажду. От бочки отходил в сторону резиновый шланг, там на асфальте уже натекла кисло пахнувшая лужа. Среди оберток от мороженого и сигарет прыгали воробьи, выискивая себе пропитание. Вид их и сам этот запах были необъяснимо приятны. Захотелось не просто попить — оживить вкус кваса, просто постоять в этом месте немного...

— А эта мне говорит: почему написано «Не для продажи», — рассказывала знакомой женщина впереди. — Я смотрю: не местная она, что ли, из приезжих? Первый раз видит гуманитарную помощь? Забыли, говорю, этикетку снять.

— Понапускали всяких, — согласилась другая. Левую руку ее оттягивала тяжелая полиэтиленовая сумка. — Порядка знать не хотят.

— Лишь бы ухватить задаром, что не положено.

— А я тебе говорила, месяц назад по гуманитарной программе в Италию ездила? Не показывала еще фотографий? Ну, сейчас покажу...

Приподняв ступню и колено, она с усилием пристроила на нем тяжелую сумку, вынула, как бы выкатила вверх кочан капусты, той же рукой высвободила из-под него небольшой альбом, кочан вернула...

Надо же, по магазинам с собой носит. Хочется показать, — подумал Зимин. Очередь была небольшая, но словно не двигалась.

— Ух ты какая тут европейская, — не торопясь, перекидывала страницы альбома женщина. — Нет, что говорить, разве мы раньше могли о таком думать? Эти говорят: производство у нас работало. Так ведь воздух зато был какой! Слабоумных нарожали больше, чем нужно.

— Не говоря о том, что в любой момент взорваться могло, — согласилась приятельница.

— Если кто приспособиться не сумел, пусть виноватят себя сами... Ух, какая тут на тебе блузочка! В Венеции покупала?

— Где же еще!

— А я, знаешь, слышала, кто на полигоне работает, в хорошем смысле звереет. За ночь, говорят, мужики по три раза.., — она похихикала, наклонясь к уху товарки.

— Нет, это кто как. Кто сюда на экскурсию, тот уезжает, посмотришь — ну, прямо, как новенький. Так у них же валюта, это другое дело. А мой за ними потом прибираться должен, та еще, скажу тебе, работенка. Он рассказывать не имеет права, да и не обязательно знать. Печей для отходов еще не запустили, а воздух должен быть все-таки чистый, семьи живут тут же, вонь допускать нельзя. Платят, не буду врать, хорошо. Но вечером придет — не то что три раза, а вообще...

— Что нас не касается, того для нас нет, — с готовностью согласилась подружка. — А знаешь, что я про эти экскурсии слышала?.. — Она оглянулась на всякий случай и только тут обнаружила позади Зимина. — А тебе тут, папаша, что надо? — прикрикнула она сердито. — Чего стоишь, слушаешь? А ну пшел отсюда!..

Зимин сам словно очнулся. Никакой очереди перед ним уже не было. Женщины стояли, оказывается, сами по себе, посреди улицы. Продавщица заканчивала работу, готовила бочку к закрытию...

Да что же я, в самом деле? — качнул головой он. — Пора отсюда. Пора. Какой еще квас! Ссадина совсем не чувствовалась, если ее не трогать. Скоро и заживет. А щетина словно успела еще подрасти, она уже не кололась, обмякла. Бритвенный прибор остался в сумке. Что там было еще? — вспоминал он. — Зубная щетка, полотенце, дешевая мелочишка. Как они ухитряются поживиться мимоходом! Искать в таких случаях бесполезно. Ладно. Главное, документы и деньги на обратный проезд оставили. Да, а ключи? И ключи остались в кармане. Ну их к чертовой матери! Сумка все равно истрепалась до неприличия, давно пора было купить новую. А что, кстати, у этого типа на визитной карточке? — нащупал он уже на ходу и вытащил посмотреть.

Режиссер, или как было его еще называть, в спешке не поглядел, всучил вместо своей карточки миниатюрную рекламу фирмы «Amalia». Четырехзначный телефон без адреса значился на ней, на обороте был убогий текст.

«Вы сумеете оценить особенно изысканный вкус наших бифштексов, — прочел Зимин. — Они приготовлены из мяса годовалых бычков, которых в последний путь на бойню отправляли в обитых изнутри материей фургонах, где приглушенно звучала музыка. По отзывам специалистов, наилучшего вкусового эффекта позволяла достичь музыка Баха, Моцарта, а также Бетховена».

Под фонарным столбом, прислонясь к нему спиной, сидел встрепанный седой человек в шляпе, на груди его висел картонный плакатик: «Гадаю по руке. Предсказываю будущее. Углубляю линии жизни». Артистичная его внешность была настолько знакомой — впору было вообразить, что ты этого седого уже видел на самом деле.

«Иди сюда», — поманил рукой шарлатан, уловив его взгляд. Бородавка на нижнем веке была целиком поглощена лиловым отеком. В бороде застряла белая, еще не подсохшая сопля.

«Нет. Хватит с меня», — движением головы отказался Зимин.

Внизу уже открывалась просторная водная гладь. Другого берега не было видно, даль оставалась все-таки закрыта маревом. Похоже, здесь действительно разлилось водохранилище, не известное Зимину, не отмеченное на его устаревшей (как сам он)

карте. У просторной нарядной пристани с большим бетонным причалом стоял такой же нарядный катер, точней даже сказать, теплоход, не защитного невнятного цвета, а, как полагается, белый. Такой же нарядный автобус поднимался от него вверх, видимо, с только что прибывшими пассажирами. Экскурсия, — примерил Зимин. — Какую в самом деле бредятину начинал мне плести этот тип? Надо было оборвать его сразу. И эти бабы о том же болтают. Если тут есть достопримечательности, пусть, конечно же, смотрят. Но без меня.

Мысль о том, что теплоход может вот-вот отойти, заставила его ускорить шаг. Наклон улицы сам поощрял перейти почти на бег.

Звуки знакомой музыки уже доносились из мощных динамиков. Ароматами Венского леса дышала она, запахом развесистых лип, нежных фиалок, свежей травы, переливистым журчанием прозрачных ручьев, прохладой солнечных ледниковых долин ласкала она слух. Потом музыка оборвалась, зазвучал зазывной голос:

— Уважаемые дамы и господа, мы рады будем приветствовать на борту экскурсионного теплохода «Китеж». Вам достался редкостный шанс: наш рекламный рейс можете считать практически бесплатным. Время до отправления вы с удовольствием проведете у нас в ресторане, в баре, в игровом салоне, дискотеке, а при желании — в библиотеке с прекрасным набором современной и классической литературы...

Стюард в белоснежной куртке приглашающе махнул Зимину с борта. Тот, улыбнувшись, сделал рукой ответный знак. Даже не верится. Бывает же такое, — подумал он, чувствуя, как обнадежено и тревожно забилося сердце. — Но ведь бывает! И так на самом деле просто. Почему я был почти готов усомниться в этом? Что-то сейчас закончится, пусть даже не вполне прояснившись — тебе на самом деле не нужно, чтоб прояснилось; темневшая угрозой тучка рассосется, растает. Устроись, как всегда, поудобней в приспособленном, привыкнувшем к телу кресле, нальешь в рюмку из давно заготовленного, отложенного пузырька. А там, захочешь — начинай разбираться, что бы хотелось вспомнить, что лучше не надо... Что такое еще у меня вертелось сейчас в голове?.. А... вдруг где-то здесь в самом деле окажется Сана? — вспомнил он.

— Эй, командир! — окликнул его откуда-то сверху знакомый голос.

Он поднял взгляд. Со взгорка неподалеку махал ему однорукий.

— Хотите глянуть? Идите, — позвал он.

— А что там? — спросил Зимин.

Возле небольшого служебного домика, теснясь у единственного окошка, чтобы по очереди в него заглянуть, стояло несколько любопытных. Зимин обернулся еще раз на теплоход. Не столько собственный интерес, сколько нежелание показаться напоследок невежливым побудило его подняться на взгорок.

— О, вы, я смотрю, уже получили крещение, — с удовлетворением оценил однорукий растерзанный вид писателя. — И расписания дожидаться не стали. Это по нашему.

— А где ваш однополчанин? — спросил Зимин.

— Этот? — показал, уточняя, на свое лицо. — Он уже на своем дежурстве. День сегодня такой, рабочий для них, сами знаете.

Нет, ввязываться еще в разговор с ним, уточнять — не надо, — напомнил себе писатель.

— А что у вас тут? — спросил он.

— Посмотрите... Э, подпустите знатного гостя, — отогнал он теснившихся у окна. Те, оглянувшись, уступили Зимину место.

В полутемной каморке, в высоком прямом кресле, отблескивавшем какими-то никелированными частями, сидел боком к окну смуглый, совершенно голый человек. Запястья его были прикреплены к поручням ремнями, на голове круглый колпак или шлем, от него отходили разноцветные провода. Такие же провода подсоединены были присосками к разным частям тела. Даже с расстояния чувствовалось, как тело это бьет крупная дрожь. Запахом устоявшегося страха несло из комнаты. Человек в голубом медицинском халате склонился, спиной к окну, над светящимся экраном.

— Что это? — спросил Зимин шепотом.

— Лечат, — также вполголоса пояснил за спиной голос.

— Зайца поймали, — уточнил однорукий.

— Что значит зайца?

— А с катера сняли.

— Он, что ли, без билета ехал?

— Еще не успел.

— Да кто ему даст билет, — подтвердил один из зрителей. Другие засмеялись согласно.

Зимин посмотрел на них. Это были по большей части небритые, потертого вида, мужчины. Не вполне еще зная, чего ждать от подошедшего, они держались на всякий случай уклончиво.

— У него вообще документов при себе нет, ничего. Неизвестно кто, — сказал однорукий.

— А здесь что такое? Милицейский пост? Медицинская служба? — попытался все же понять Зимин. — Что это за кресло?

— Медицинская, — кивнул тот, на кого он смотрел.

— Научная аппаратура, — пояснил другой.

— Чтобы правду узнать, — осклабясь с довольным видом, снова сказал свое мнение однорукий. — Как вы узнаете, только по-научному.

И пошептал на ухо стоявшему рядом. Тот на полшага отодвинулся от Зимина, но уперся в стоявшего сзади. Это было движение почтительности. Сказал, кто я, — понял писатель.

Он еще раз глянул в окно. Сидевший в кресле сумел повернуть в его сторону лицо. Глаза его были расширены недоумением или мукой. Долго смотреть на него было невозможно.

— Что значит правду? — попробовал хоть немного выяснить Зимин. — Чего от него хотят?

— Так он про себя ничего не говорит, — ответил один из стоявших. — Кто он есть.

— А кто он такой?

Доброжелательный смех был оценкой его юмора.

— Про то мы и говорим.

— Откуда же знать, пока он не скажет?

— Тем более он языка даже не понимает.

— Поймет, если хорошо постараться.

— Сейчас есть такие, своей нации не знают.

— Может, и знают, только не признаются.

— О, вы бы видели, как он сейчас дергался, — с удовольствием вступил опять однорукий. — Из рта вот такой белый червь выскочил. Да, мужики? Не от боли, от страха.

— Боли он еще не почувствовал.

— А на экране эти зигзаги так и дергались, все выше, видели?

— Наука, что тут скажешь.

— Сколько раз я вам говорил: не мешайте работать! Пошли вон отсюда! — прикрикнул на них, наконец, из комнаты медик в халате. Он подошел к окну, задернул резким движением занавеску.

Зимин стоял, обессиленный непонятно чем. Он словно не мог вспомнить, что теперь должен делать. Этих людей не надо было слушать, они просто не знали, чем там занимается медик, несли вздор в меру своего понимания. Но почему приходится слушать опять именно такое, именно такое?..

Музыка снова донеслась с теплохода. Надо было заспешить туда сразу, — сказал он себе. — Мог же. Что опять удержало? Какой еще встречи я хотел дожидаться, какой голос услышать?..

— Вот он где! — послышалось неожиданно. С берега к пристани спускался Бабай. Он запыхался от спешки. — Я же сказал: погодите там! Зачем сюда? Здесь пока делать нечего. До места еще нужно дойти. А вы тут застряли! Опоздать можно. Пошли скорее. Пошли же!..

## 8

Упустил момент, ведь только что мог! — в тоскливой растерянности оглядывался Зимин. Стюард в белоснежной куртке снова помахал ему рукой с борта и что-то стал объяснять подошедшему товарищу. Кучка темных людей на пригорке молча наблюдала, как Бабай, ухватывая писателя то под локоть, то попросту за рукав, увлекает его от пристани вверх, по узкой дорожке.

— Куда вы меня тащите? Зачем? — морщась, пробовал тот высвободиться; оказывать слишком резкое сопротивление на виду у зрителей было нельзя, неизвестно, как бы они это могли истолковать. Правильней было сначала отдалиться от посторонних взглядов, объясниться разумно, спокойно, отцепиться от этого возбужденно оскаленного, с болезненно светящимися белками глаз человека.

— Так ведь пора уже. Нельзя опаздывать. Время не ждет. Вы, я смотрю, без меня успели ввязаться? — удовлетворенно отметил и он ссадину на лбу Зимина. — Ну, эта партизанская самодеятельность не для вас же. Пошли... пошли. — Он даже

подтолкнул его сзади в плечо, легонько и с уважительной фамильярностью, как уже почти своего, хотя и повыше чином. — А то эта блядь хотела мне запудрить мозги, что вы здесь вовсе не для того, вы не тот человек, как мы думали. Другой. Мы вам никто, и ждать от вас ничего не нужно... Все ищет, как обдурить, придорожная падла. Я про нее ведь тоже знаю, не думайте. Чем она раньше промышляла, еще когда девчонкой была. Ее к дальнбойщикам-шоферам в машины подсаживали. Голосовала на шоссе, просила подвезти, да? А по дороге охмуряла, заманивала, куда нужно. Там подельники уже поджидали, раскурочивали контейнеры. Попутно ее, конечно, использовали. И как такую не использовать? А потом свои же ее кинули, как говорят на их языке. Топилась она или травилась, вот этого я не знаю. И какая разница? Говорит: ничего не помню. Это удобно. Здесь многие так говорят. Если бы я мог не помнить, что было, пока сюда не попал. В прежней, как у нас говорят, жизни. Что было со мной час назад, могу забыть начисто, а вот ту, другую жизнь... Она, что ли, пробовала и вас охмурить? Это ее специальность — охмурять и заманивать. Ее натура. Как будто вы сюда за этим приехали. Вас здесь не для того ждали, верно?..

Что он от меня хочет? — ословело соображал Зимин. Руку высвободить уже не было надобности, голос подгонял, подталкивал в спину сам — но как было высвободить мысль из нарастающего шума крови? Зачем он это наплел про Сану? Теперь надо его слова считать правдой. Пусть так. Все может быть правдой. Все про всех. Без усилия, сами собой поворачиваются, переводятся в мозгу соединения, перестраивается взгляд. Только возникает ли из этого действительное понимание? Наоборот, увь. Непонимание скорей помогало справиться с угрозой, с чем-то, что явственно тут же рядом присутствовало, подступало вплотную, но не осознанное, не оформленное, расплывалось, проходило мимо. Ты не так откликался, это сбивало с толку чего-то от тебя ожидавших, чего-то желавших добиться — выскальзывал нечаянно, сам не зная, как.

Он безотчетно ускорял шаг, точно это помогло бы ему оторваться от неотступного, сумасшедшего, подгонявшего сзади голоса. Нельзя же было идти, заткнув уши.

— Разве можно так жить, как мы? — говорил Бабай ему в спину. — Бьемся вслепую, кто как умеет. Раньше хоть знали: есть Зимин. Пусть нас совсем от него отгораживали, но он есть. Значит, рано ли, поздно должен сказать, что нужно. Кто-то с высоты должен давать ориентацию. С нами ведь делают, что хотят, мы только ушами хлопаем. Они уже думали: все, избавились. Нет Зимина. А он — вот он!

Торжествующий радостный смех захлебнулся кашлем.

— Вы не волнуйтесь слишком, — попробовал успокоительно сбить этот непосильный напор писатель. Идти приходилось от берега куда-то вверх, задышка мешала говорить, но остановиться не удавалось. — Все действительно непонятно, неясно. Не только вам, мне тоже, не думайте. Разобраться на месте ничуть не проще, вы совершенно правильно выразились. Надо, как вы говорите, отдалиться на высоту, на расстояние. Или на время...

— Ну, я же знал, что вы поймете! — восхищенно согласился тот и поддержал Зимина сзади, то ли помогая идти, то ли мягко подталкивая, чтобы не останавливался. — Для понимания нужна высота, на месте можно только почувствовать, войти в

волну. Заряд получить, как здесь говорят. Никакой умственной работой этого не заменишь, никакими словами не объяснишь. Да что я вам говорю, вы потому и приехали. Сейчас некоторые, я знаю, приспособились дрончить вприглядку, нажимают кнопки, пускают слюни на цветные картинки. Вам же нужно запах в себя впустить, дрожь воздуха. Это я понимаю, запахи задевают струну раньше мысли. Вы еще в отстойнике у них не были? Ну, и не обязательно. Они думают, с этого лучше всего начинать. Не через глазок просто глянуть, а именно вдохнуть, чтобы ужас тел этих почувствовать. Вы нанюхаетесь не такого. Я же вас поведу неофициально, вы с ихней экскурсией так не врубитесь. Они ведь должны все-таки ограничивать. Страховку платить лишний раз тоже не хочется, в убыток себе. Коэффициент риска в оплате по договору учитывается, но это на добровольный выбор. А что такое по нынешним временам риск? Когда в любом метро у вас, как передавали, может взорваться. Если сам этого риска не ждешь и не ищешь, ничего внутри не успевает возникнуть, да? Или когда стреляешь издалека, без опасности. Кто-то падает, а попал ты или не попал, нет уверенности. Может, притворился, изображает. Они же тебя не подвезут вплотную удостовериться. Скажут: поучаствовал, порцию чувств, как хотел, получил? И все. Нет, вот с близкого расстояния, когда видишь, как мозги брызнули — тогда в крови действительно закипает. Входит в тебя что-то такое... да кому я толкую? А на большом расстоянии действие, конечно, рассеивается...

Звучание слов уже почти нельзя было отделить от шума крови в висках. Так бывает на высоте или при долгой гонке, когда не хватает воздуха, но продолжаешь двигаться отчасти автоматически. Дорога, расширившись, все поднималась вверх, вокруг был развороченный пустырь. Кучи грунта, мусорного щебня навалены были повсюду. Гнутые арматурные прутья торчали из бетонных обломков, груд битого кирпича. Большие ржавые трубы лежали одна на другой у края разрытых когда-то, но давно обвалившихся, почти засыпанных траншей. Некуда было свернуть. Удалось, оказывается, втянуться в ритм, но шаг становился все-таки медленней.

— А верно я слышал, у вас выстрел две тысячи стоит? — попробовал Зимин наугад подладиться под бредовую речь — словно, совпав с этой логикой, можно было вызвать резонанс, овладеть разговором, вывести его на нужное направление. Ему становилось жарко. Он все-таки задержался, чтобы снять куртку. Бабай нетерпеливо прошел вперед.

— Обижаешь, начальник! — радостно обернулся он на ходу. Оскал его стальных зубов был таким же восхищенным, как блеск глаз. — Эти рассказы не про нас, не слушай. Без тарифной системы у них, конечно, нельзя. Если не попал с первого раза, надо, конечно, доплачивать. Рыночная экономика. Это само собой. Но мы ихними тарифами подтираемся, мы не ради же денег. Я, может, когда волнуясь, говорю не совсем подряд, не как надо. Простите. Вы сами выстроите, как Зимин хотел. Для общего понимания. Нам только этого не хватает... Давай свою курточку, я понесу, — нечаянно соскользнул он на «ты». — Давай, давай.

— Вы действительно слишком возбуждены, говорите так сбивчиво. Я, может, не все понимаю, — проговорил Зимин осторожно, еще не зная, удастся ли обойти по краю какой-то совсем уже близкий провал — от него дышало пугающим холодом. — Я тоже в состоянии не самом лучшем, после такого трудного дня. Вы извините. В го-

лове все так или иначе можно разместить, совместить. Экскурсионную программу с центром реабилитации. Но когда стрельба, как вы говорите, на самом деле?.. В кого стреляют? Зачем? Речь может идти о деньгах, может идти об идее, это я способен понять...

— Ну конечно же! — оборвал его Бабай, так же восхищенно оскаливаясь. — Я же знал, вы в самую точку попали. Читаешь их газеты, со всякими лозунгами, рекламой... чьи они на самом деле, надо еще поискать, так просто не докопаешься... — деньги для них ни при чем. Все насчет того, как общую силу восстановить, освежить народную кровь, наладить жизнь, как всем хочется. И что весь мир, значит, начинает сходить с ума, а мы должны стоять, как герои, не жалеть своей жизни ради общего дела. Как будто мы когда за свою жизнь дрожали. Мы совсем про нее успели забыть. Голыми руками, в одних брезентовых рукавицах на расплавленной крыше реактор гасили. Тут много собралось таких, на той стороне, можно сказать, побывали. Возвратились, оглядываемся. Что такое вокруг? Почему? Никто объяснять не хочет. Собирают себе конгрессы международных защитников, с выпивками, оргазмами, трофеями. Экскурсантов мордатых возят, деньги неизвестно какие крутят. На нашей же крови. А ты здесь чужой. Ни работы, ни жилья, ничего. Кроме слов, чтобы тебя опять использовать. Вторично переработать. Смотрят на тебя, как на пустое место. Я одну ихнюю сволочь схватил вот так за грудки... нет, я только показываю. Ты попробовал, говорю, как пахнет горелое мясо? Подходишь к танку, еще горячему, люк только ломом можно открыть. А там за рычагами дружок твой сидит. Весь черный, но узнать можно, как негатив, до мелкой черты. Потом ветерок подул — и нет его. Представляешь? Нет. Кучка пепла осталась, можно в каску ссыпать. И запах, запах... О, говорю, ты даже не выдержишь такого, что у меня внутри, в черепке. Идешь вот так по улице, вокруг люди, такие вроде, как ты. Мороженое едят, разговаривают, и на тебя тоже смотрят, как целки нетронутые. У них даже в умах не поместится, что с тобой было, на что ты способен, какие картинки внутри глаз прокручиваются. А руки сами собой с поворота, чтоб не дышал тебе в спину неизвестно кто — хэк!.. Прости, друг, я ведь не по-настоящему...

Зимин вынужден был присесть на корточки, держась обеими руками за шею. Не утратить удар в самый последний момент решительности, можно было бы вовсе упасть.

— Извините, — бормотал Бабай, склоняясь над ним и придерживая. — Это я ведь так просто... автоматически. Организм не выдерживает, когда тебе дышат в спину. И еще смеются, как будто я чокнутый. Я говорю: ты свои смехуечки кривые бросишь. Я тебя слушать заставлю, если ты даже не хочешь, падла. Думаешь, мы совсем уже дохлые, как полусонные мухи? Ни на что не способны? Думаешь, сил хватает, чтобы только терпеть? Но внутри-то еще не остыло, еще раскалено... Извините. Я ведь еще ничего. Но ведь нельзя же так дальше. Чтобы все шло, как есть. Надо повернуть по-другому, правильно. Тем более, вы тут. Вставайте. Нам еще совсем немного пройти.

Зимин с трудом, медленно выпрямился. Место, где они теперь находились, было когда-то производственной территорией. Отработанный шлак заменял почву. Бетонный корпус неподалеку зиял пустотой раскрытых ворот, поверху чернел

сплошной ряд таких же пустых окон. Кирпичный корпус поменьше был рядом. Заржавелые рельсы подъездных путей терялись среди бурьяна. Технические сооружения или станки, вызывавшие мысль об одичалых современных скульптурах, возвышались над зарослями в разных местах, как принадлежность пейзажа; пятна синеватой плесени проступали на них. Бесполезно было искать взглядом прохожих, надеяться на вмешательство.

— Дошли. Хватит, — помотал Зимин опущенной головой. — Что вы мне показываете на запястье, у вас же часов нет? Мои тоже остановились. Какое время? О чем вы говорите? Я, видно, все-таки не могу войти в эту вашу волну. Сейчас не могу, извините. Меня уже дома ждут... жена, дети. Я предупреждал, что вернусь через день. Будут волноваться, если задержусь.

Он говорил, не поднимая глаз на Бабая, не желая видеть усмешку человека, знающего цену вранью. Некого тебе было предупреждать, куда едешь, и никто не спохватится, что тебя нет, никто не станет тебя искать, нелепый, беспомощный одиночка. Да и спохватится кто, не будет знать, где...

Звук показался Зимину похожим на громкий хлопок. Прежде, чем он понял, что это выстрел, острая боль обожгла ему лодыжку. Он не успел посмотреть, что это, откуда — Бабай насильственным рывком увлек его за ближний кирпичный угол.

— Балуются, так-перетак, раньше времени, — выматерился он беззлобно. — Поторапливают, что ли? А то мы сами не знаем!.. Ты что нас подгоняешь, как не своих, э? — погрозил он кому-то из-за стены кулаком и высунулся осторожно, не полностью.

Зимин из-за его затылка поглядел в ту же сторону. (Красный шрам черепной раны проступал под черными взмокшими волосами). Из пустого проема наверху противоположащего здания скалилось уродской довольной усмешкой обожженное лицо. Зимин различал эту усмешку с необычайной четкостью, невзирая на расстояние, но веселье обозначал эта оскаль или беззвучный плач? Щиколотка под носком кровоточила, сам носок был в крови, но не разорван. Видимо, в это место попал острый осколок камня, выщербленный выстрелом.

— А? Партизан! — сказал Бабай уже для Зимина, поворачиваясь; в тоне его был оттенок скрытого удовлетворения. Наклонился, удостоверяясь в неопасности раны. — Вы не сердитесь, он снайпер-загонщик высшего класса, никогда не попадет, если не нужно. Он выстрелом гвоздь забить может. Большой, конечно. От маленького только дырка останется. Ну, просто нетерпеливый, напоминает нам, чтоб не задерживались.

Он выпрямился, без надобности отряхнул брюки.

— Пошли, — подтолкнул Зимина в плечо. — На месте перебинтуем, у меня при себе ничего нет. Держитесь к стене поближе. Вы какое оружие больше любите?

— Оружие? — тот засмеялся невольно. Смех ли, неодолимая ли дрожь в ногах лишали его способности сопротивляться. Призыв держаться ближе к стене смысла не имел. В полуметре слева вдоль нее шли на разной высоте трубы. Полуистлевшая изоляция на них была покрыта налетом той же синеватой плесени. Тягостный смрад исходил от нее. Местами изоляция разлохматилась, свисали толстые грязные клоуны. — Я, конечно, стрелял из винтовки, когда-то, но в учебную мишень, не более. А

все другое — разве что в воображении. Как в детстве, в юности, когда раскидываешь всех вокруг, а сам подымаешься после всех ударов, которые могли превратить тебя в идиота. В лучшем случае. И ведь затягивает, затягивает больше, чем ты можешь вообразить, помимо рассудка, куда-то, откуда уже не знаешь, как выбраться. Как будто обступает именно то, чего ты втайне боишься. Но я ведь о таком и думать не мог. Мне просто в голову придти не могло, откуда? Заложено, что ли, от рождения, вживлено в подкорку или я не знаю куда, требует выхода? Снова и снова, из века в век. Не в чьих-то отдельных мозгах изъян. Сопrotивляйся, не сопротивляйся, понимай не понимай. Можно ведь, думаешь, по-другому, разумно, мы на самом деле вовсе не так ужасны, мы всегда надеемся, хотим лучшего. Как это объяснить?..

Мерзкая скользкая тварь тяжело шмякнулась сверху на плечо Зимина, задев левое ухо. Он передернулся, сгоняя ее рукой. Рука угодила в податливую слизь. Бабай помог счистить с плеча кусок разложившегося вещества. Грязный мокрый след на рубашке все же остался.

— Капает, до сих пор, — показал Бабай на почерневшее ведро, кем-то поставленное у стены. Оно до половины уже было заполнено жидкостью. Из подтекавшей трубы, поперечно проложенной здесь над самыми головами, плюхнулась в него звучная капля, следующая медленно набухла на обвисшем ошметке изоляции. — И ведь собирает кто-то себе, травится. Тут земля на метр в глубину этой дрянью пропитана. А трава все равно растет, и цветочки цветут, и козы пасутся, и младенцы рождаются. С жизнью ничего не поделаешь, вы правильно говорите...

Он присел на корточки, тронул край ведра пальцем, понюхал, покачивая головой. Слышал ли он, что я говорю? — в отчаянии подумал Зимин. Затылок с красным рубцом среди волос был одновременно отвратителен и незащищен. Кусок выпавшего из стены кирпича лежал на земле. Наклониться так, чтобы не привлекать внимания, точно хочешь проверить щиколотку, уже совсем окровавившую носок. Поднять кирпич, разогнуться...

Вспышка боли в голове заставила его прислониться к стене, чтобы не упасть.

— Пошли, пошли, — сказал, выпрямляясь, Бабай. — Теперь сюда, за угол. Так будет, думаю, ближе. Тесновато вроде, зато сократим дорогу. И не так опасно...

Идти приходилось теперь между двумя почти соприкасающимися корпусами, обтирая боками стены. Чем дальше, тем они теснее сближались. Светящаяся щель выхода впереди все отдалялась. Зимин уже не шел, а протискивался боком, повернув голову назад, в сторону Бабая.

— Чего вы от меня ждете, чего хотите? — все еще надеялся он убедить его какими-то логичными доводами. — Почему вы решили, будто я здесь что-то могу? Что в этой жизни от меня может зависеть? Не я же ее придумал... А знаете, что до меня дошло однажды? Я поймал себя не то чтобы на спокойствии — на чудовищном безразличии. Безразличии к смерти. То есть умом вроде бы понимаешь, что должен смерти бояться. Этот страх заложен внутрь человеческого существа самосохранительной природой. Уж я-то его помнил. Свобода от этого главного страха в юности казалась такой желанной, недостижимой. Но вместе с этим страхом исчезло из жизни что-то еще. Вначале показалось, я перестал понимать собственные прежние чувства, то, что когда-то восхищало, радовало или, наоборот, вызывало отвращение, ужас, стыд. Нет,

понимания как будто вроде даже прибавилось. Но оно обесценивало эти чувства, удовольствия, даже беды, свои и чужие. Вот что до меня вдруг дошло: я вполне мог не жить. То есть, когда я хожу, дышу, двигаюсь, насыщаюсь едой, получаю впечатления... как, может, на этой неизвестной экскурсии... это, оказывается, еще не совсем значит жить. Вот даже сейчас: все органы работают. Я чувствую боль. Вот же она. Значит, на самом деле. Но боль рано или поздно пройдет. Не бывает же, чтоб все время болело, нельзя. Как же удостовериться тогда?..

А ведь он слушает, слушает, — вдохновлялся писатель. Что-то происходило с его лицом. Взгляд становился все больше растерянным, непонимающим, но уже не тем, безумным. Надо говорить, говорить дальше, действует убедительность если не логики, то голоса. Главное не останавливаться, говорить, говорить, чтобы отвлечь от хода собственных мыслей.

— И при всем этом, оказывается, я не могу даже ударить человека по голове, — продолжал он, с усилием протискиваясь между стенами дальше. — И раньше не мог. Сколько ни воображал. Но именно воображение не позволяет, вот что до меня не сразу дошло. Потому что удар заранее отзывается в собственном черепе. Хотя говорят, воображение помогает уйти от жизни. Заменяет ее. Я сам так думал. Но ведь оно, оказывается, бывает разное. Мое, наверно, позволяло мне все-таки держаться, оставаться самим собой... не распознаться вместе с жизнью вокруг... Пойдемте назад, — сказал он просительно. — Я дальше не могу. Мы окончательно тут застрянем...

— Один шаг остался. Полшага, — прохрипел Бабай. Лицо его покрыто уже было испариной. Похоже, протискиваться ему было еще трудней, чем Зимину, он был более широкого телосложения. — Гляньте... вон ведь... уже прямо за спиной...

— Я голову не могу повернуть, — сказал Зимин и прикрыл обессиленно глаза. — Стою, не стою — не знаю. Ноги не держат, а все равно не падаю. Стены не дают. Пусть так. Знаете, что написал мой однофамилец? Может, написал, без меня всем будет только лучше...

Полухрип, полуклекот послышался Зимину. Он открыл глаза. Что-то происходило с Бабаем. Лицо его было искажено гримасой. Расширенные зрачки стали совсем пустыми, безжизненными. Голова дернулась. Он ударился виском о стену и грузно стал оседать — упасть ни в какую сторону не было возможности.

Припадок, — понял Зимин. — Вот оно с ним что. Так я и чувствовал. На губах проступила пузырчатая, с примесью крови, слюна.

Собрав последние силы, Зимин дернулся — и едва не упал, высвободясь. Выход, оказалось, был действительно за спиной.

Что же теперь делать? — соображал он лихорадочно. Бабай затихал, открытые расширенные глаза не воспринимали уже ничего вокруг. — Он сейчас может заснуть... хорошо бы. Придет в себя, сам выберется. И не вспомнит, что было. Я же его вытащить все равно не могу, ничем не могу помочь...

А куртка где? — опомнился тут же он. — Там ведь все документы, деньги. Осталась где-то за ним... не добраться. Только если найти кого-то, позвать на помощь...

Но он уже сам сознавал неубедительность этой мысли. Не надо было ему никого искать — только бы освободиться, уйти...

Эта возможность вдохнула в него внезапные силы. Пригибаясь на всякий случай, сам не зная, зачем, он добежал до каких-то пустых, разбитых контейнеров — и дальше, прячась неизвестно от кого за попутные укрытия, умеряя шум шагов по громкой щебенке...

## 9

Уйти, уйти! — с лихорадочным торжеством билось у Зимина в висках. Как есть, без документов, без денег, в обезображенной до неприличия одежде, с окровавленным носком, неизвестно кто. Для других — неизвестно кто. А для себя? Глупый вопрос. Какой ни есть — главное, вырвался из чужого, опасного бреда.

Время от времени он останавливался, прислушиваясь, не хрустят ли позади наступающие шаги. Но мало было остановиться, чтоб стало тихо: мешало собственное дыхание. Хрип его заполнял все пространство, размножался в нем, гулко усиливался; надо было хоть на миг его задержать. Долго вынести распирающую грудь тишину не удавалось. Хрип, хруст отработанного шлака, грохот шагов возобновлялся, биение сердца отдавалось в окружающем воздухе.

Открытые места он предпочитал обходить стороной, держался поближе к попутным стенам, к остаткам бетонной ограды, но при этом старался не терять направление под уклон, который должен был вывести его обратно к реке. Надежда эта оказалась, однако, обманчивой. Спуск сменился подъемом, точно, перевалив незаметно холм, надо было подниматься на новый. В какую, однако, он шел сторону? Может быть, как раз от реки? Потускневший сумеречный небосвод был теперь равномерно серым и не позволял определить сторону света.

За глухой стеной крайнего заводского строения, почти вплотную к нему присоседилось несколько жилых, одноэтажных и двухэтажных домов. Они словно были вписаны внутрь производственного пейзажа вместе со своими садами, бытовыми постройками. Толстые трубы проходили из цеха в цех поверху над их крышами. Сам поселок имел вид тоже необитаемый, местами полуразрушенный. Дранка открывалась под осыпавшейся штукатуркой. Обнажены были интимные внутренности бывшего жилья: остатки обоев на уцелевшей стене с невыгоревшими прямоугольниками висевших здесь прежде картин или фотографий; плитки белой керамики на бывшей кухне; рядом накренился, еще держась за трубу, развалившийся унитаз. Старомодная железная кровать на втором этаже свесилась над пустотой одной ножкой — кто-то внезапно вскочил на ней среди ночи, не понимая, что происходит.

Зимин пробирался среди этих домов, томясь чувством, что здесь еще дышит остатками жизни. Вид трупа бывает не так ужасен, как вид изуродованного, не до конца отмучившегося тела. Сквозняком выдувало из пустого окна легкую занавеску, она сохраняла еще голубой чистый цвет — цвет утренних сновидений. Запах свежего, не успевшего прокиснуть дымка заставлял вздрогнуть ноздри.

Наконец он вынужден был остановиться, упершись в тупик небольшого внутреннего дворика. Под обломанной полусохшей яблоней стоял вкопанный в землю столик, где только что пили освежающий летний чай. Уцелевшая чашка перекачивалась сама собой на боку от каких-то внутренних сотрясений, возле разбитого

блюдца. Таз с налетом мыльной засохшей пены и зубной пасты стоял под рукомоёмником на табурете, крашеном белой краской. Металлическая, с мятыми ржавыми боками, бочка стояла у стены. Вода из нее вытекла через пробитую в середине дыру, но рядом — вот уж что неожиданно — следы свежего полива темнели на вскопанной грядке с уже разросшейся зеленью редиски, моркови и лука. Да, словно кто-то совсем недавно покинул этот продолжавший жить дворик или затаился где-то неподалеку, в укрытии, чтобы, переждав неизвестное бедствие, обосноваться здесь снова.

Зимин глянул в дыру окна. За такой же дырой в противоположной стене открывалось просторное поле с огородной зеленью, пугало на шесте с ночным горшком вместо шляпы. Значит, там должно быть настоящее жилье и нормальные люди, — стало вдруг Зимину ясно и просто. Достаточно было пройти напрямик сквозь внутренность дома. — Что я себе вообразил? Наслушался невесть кого! Зачем непременно думать о бедствиях, стихийных или производственных, об аварии, катастрофе, взрыве, не говоря уже о людских безумствах? Все это запустение может означать не более чем остановку ненужного производства, перспективу нового, уже намеченного, но пока не осуществленного строительства, перемен к нормальной жизни, в конечном счете.

Он без особых усилий залез на невысокий подоконник, спрыгнул вовнутрь. Пришлось почти сразу наклонить голову, чтобы не стукнуться о свисавшую с потолка деревянную балку. Одновременно приходилось смотреть под ноги, чтобы не ступить в кучку засохшего кала. Этих кучек здесь было навалено множество, но запаха они уже не издавали. Странно, как будто нос заложило, — отметил Зимин.

Он словно вообще вдруг перестал ощущать запахи. От этого окружающее казалось не совсем настоящим. Ты осторожно, медленно продвигался внутри декораций для съемок — вроде тех, о которых говорил розовощекий, с бородкой. Как он называл эту натуру? Уходящая, да. Сколько ты ее уже навидался — не сейчас, когда-то, давно.

Из распоротого дивана торчала пружина и клочок ржавой ваты. Торс голого целдулоидного пупса с единственной ногой валялся на полу среди разбросанных школьных тетрадей, грязных листов гербария с засохшими цветами и зеленью, желтых, пыльных, ломких газет, для подтирки уже не годных, с новостями недостоверных времен. Из распаханного альбома грудой вывалились фотографии — не надо было наклоняться, чтоб посмотреть на них. Они не имели отношения к реальности, только должны были создавать впечатление документального правдоподобия. Как в жизни. Бутафоры о правдоподобии позаботились от души, но, пожалуй, переборщили, — думал Зимин. Вот, на полу зачем-то даже подтек краски, похожей на липкую, как будто еще свежую кровь... и на стене брызги. А в углу это что? Прямо всамделишный труп полусгнившей собаки, и мухи на животе копошатся совсем настоящие. Как они любят пощекотать нервы всякими этими трюками, ужасами, поделками в отвратительной краске! А главное, постоянным ожиданием неизвестно чего. Вдруг сейчас, вот из этих дверей сбоку появится зубастая пасть. То-то захочется поорать. Говорят, это производит даже полезное действие — но завершиться все должно, разумеется, благополучно. В этом деле иначе не полагается, иначе непонятно, зачем. Как невозможна гибель всерьез, пока ты жив. По-настоящему, конечно, бывает у кого-то, где-

то, но не с тобой же, не здесь, не сейчас. Запахов-то все-таки нет, вот чем выдает себя декорация. Разве что мух может обмануть. Этот припадочный не зря только что о запахах толковал. А ведь вот на полу картина в сломанной рамке: закат на берегу озера, лодка под розовым парусом плывет к светлому замку с башнями. Насколько это более жизненно!..

Звук отдаленного мотора заставил его, вздрогнув, очнуться. Вот оно!... наконец-то! Чуть было не замечтался тут, замер, остановился. С какой это слышалось стороны? Надо было заспешить навстречу, выбраться, черт побери, отсюда...

Звук, приблизясь, затих. Зимин выглянул из оконного проема. Посреди огородного поля, на невидимой отсюда дороге стоял автобус знакомого экскурсионного вида.

Чувство внезапного сомнения заставило Зими́на в последний момент от окна отпрянуть. Сердце заколотилось. Он еще не осознал, не объяснил причины этого страха, проникавшего в колени, в живот, в кончики пальцев. Осторожно, одним глазом высунулся из-за простенка...

Десяток разношерстно одетых мужчин вывалился из автобуса. Преобладали спортивные яркие костюмы, но на ком-то была цветастая рубашка, на ком-то просторные пятнистые штаны, Один здоровенный широкоплечий бугай щеголял в шортах, с ковбойской шляпой на голове; у другого голова была обмотана платком вроде клетчатого. И эти на какие-то свои съемки, — неуверенно подумал Зимин. Знакомого в кожанке среди них он не видел, это была другая группа. Кто-то небольшого роста, с отблескивающим круглым черепом уже объяснял статистам задачу, показывая жестами в разные стороны. А где у них камера? — все искал взглядом Зимин. И тут же увидел появившиеся в руках у одного за другим карабины.

Бугай в шортах первым, не дожидаясь окончательных объяснений, направился в сторону Зими́на. Он шел медленно, но как бы пританцовывая, держа карабин в правой руке наизготовку, вверх дулом...

Да что же это такое? — лихорадочно пытался собрать мысли Зимин. — Дело не в камере... даже если б она была. Не на съемки прикатила эта экскурсия, тебе же именно это хотели втолковать, показать на практике... ты даже не пожелал допустить, что такое возможно в действительности. Думал, что вывернулся, ушел, пережитрил чье-то сумасшествие, отстоял свое. И ведь какую невнятицу нес, на что угробил время, быть может, спасительное. Потому что тебя хотели довести до безопасной позиции, ты просто не захотел, не смог понять. Да еще терзался непонятно чем, чуть ли не виной, угрызением совести...

Одиночный раскатистый выстрел раздался за стеной, совсем близко. Зимин не удержался, выглянул снова из-за простенка — и едва успел отшатнуться. Бугай в шортах стоял уже в нескольких шагах от дома. К счастью, он в этот момент сам оглянулся на выстрел, прислушиваясь. Рыжеватая поросль отблескивала на голых незагорелых ляжках. Челюсть жевала механическую резину. Кончик висячего светлого уса слипся от выпитого недавно пива.

Спрятаться, скорей спрятаться, — понял Зимин. Это в самом деле что-то чудовищное... чудовищный аттракцион. Охота на живую дичь. Тебя соблазняли принять в ней участие, причем на особых правах, как знатного приезжего, так что ли? Даже

предлагали оружие. Чтобы взбодрить застоявшуюся кровь, оживить чувства... как это они выражались? Или при надобности побороться на равных? И ты от этого отказался? Нет, бред здесь, оказывается, ужасней, у тебя просто не хватило воображения. Тебя просто использовали, и ведь так незамысловато. Заманили... да, заманили. Подставили. Даже потратиться не понадобилось, купили на нехитрую лесть. Им же нужна даровая дичь. Человек, которого никто нигде больше не хватится. И следов уже не найдут. Ты просто перестанешь существовать для той, другой жизни. Там не останется никого, для кого ты мог бы хоть что-то значить. Кем бы себя ни воображал. Теперь только спрятаться, только спрятаться, ничего другого уже не придумать. Только спасать жизнь, сколько бы ни говорил себе, что не хочешь, что тебе все равно. Это тебе не по силам — не хотеть...

На цыпочках, стараясь не производить шум, он пробрался к двери в соседнюю комнату. Она была чуть приоткрыта. Вздувшаяся половица не позволяла ни открыть ее пошире, ни закрыть за собой. Помещение за ней оказалось чем-то вроде проходного коридора без окон, но дальнейший проход был наглухо перегороден громадным старинным шкафом. Он занимал чуть ли не большую часть комнаты. Это был тупик. Единственное, что оставалось — протиснуться, спрятаться внутрь, закрыть за собой поплотней. Уместиться под низкой полкой можно было, лишь скорчившись, сжавшись в комок.

Было слышно, как невидимая грузная туша переваливается через подоконник в комнату. Тяжесть неторопливых шагов отдавалась сотрясением во всем доме.

— Э! — сказал ленивый голос. — Кто в теремочке живет? Чего молчишь? А, сука? Прячешься? Ну, дело твое. А у меня свое. Можно и не спешить. Зачем спешить? Удовольствие надо растягивать.

Это он сам с собой, — понял Зимин. — Известные штучки. Он же тебя не видел. Вдруг ты поверишь, что он про тебя знает, поддашься, сам выйдешь. Насмотрелся фильмов, где любят посмаковать наслаждение властью, не кончают сразу...

Бурчание внутренностей, где переваривалась поглощенная пища, слышалась из-за стены. Вдруг они разразились громким звуком освобождения. Густой запах отработанного материала недвусмысленно объяснил его происхождение.

— Ох, хорошо... о-ох, хорошо,

— полупед, полустонал под свою же натужную музыку человек за дверью,

— До чего же хорошо,  
То ли еще будет,  
Если держишь жизнь в руках,  
Свою и чужую...у-у...  
Терпение и время... э-эх!  
Собаки, дрож-жите...

Он просто справляет нужду, — понял Зимин. — Для этого сюда и направился. Здесь у них отхожее место. Только и всего. И говорит просто так, сам с собой. Напеваает, тужится. Неужели ничего больше? Как у него надолго хватает...

Страх заполнял теперь воздух снаружи, он словно был впитан все более чувствительной вонью. Значит, все-таки чувствую, — со странным удовлетворением отметил Зимин. Белая мелкая моль светилась, трепетала крылышками в темноте возле самого лица, от ее сухости, как от пыли, першило в горле. Кто-то маленький, теплый вспрыгнул ему на колени, заставив напряженные нервы вздрогнуть еще раз. Это была кошка, видимо, тоже искавшая здесь укрытие, а может, просто решившая пристроиться поближе к человеческому теплу, пригреться возле сотоварища по беде. Откуда она могла сюда проникнуть? Где нашла вход, если дверца была плотно закрыта? Свернулась у Зимина между коленями и животом...

Звук еще одного выстрела послышался с отдаления. Крик азартного торжества откликнулся на него.

— Ну, бля! — прорычал за стеной голос. Завистливая досада звучала в нем, но и облегчение от справленной нужды. Тяжелые шаги затопали снова к окну — так спешат еще не нашедшие ничего грибники на возглас более удачливого добытчика: у меня есть!..

Зимин прикрыл глаза с чувством предельной расслабленности. Дрожь кошачьего дыхания передавалась телу тепло и успокоительно. Животное чувствовало себя защищенным возле чужого тела... Свернуться вот так комочком, унять лихорадку, занять меньше места, как в материнском чреве, согреть себя теплом окружающего покоя, в темноте, где никто тебя не увидит. Если бы можно было так замереть, в шкафу детских сказок, чуть не оказавшемся ловушкой, в неподвижном тепле, без чувств, без желаний — кроме одного-единственного: в этой успокоенности и остаться. Ничего больше не испытывать, не бояться. Зачем вставать? делать усилия, в которых будет смысла не больше, чем во всем до сих пор? Сколько это может еще длиться? Все равно...

Господи, опять та же бессмыслица, — одернул себя Зимин. Но заснуть бы сейчас в самом деле. Не осталось сил встать. Отказал даже голос. И куда же теперь идти?

Кошка расправилась, выбралась к Зимину на колени. Он скорей угадывал, чем видел в темноте, как она потягивается, выгибаясь горбом и от этого чуть тяжелея. Открой глаза, — сказал себе он. — Пора все-таки просыпаться.

Кошка спрыгнула с него и куда-то ушла. Ее тепла и тяжести не хватало теперь телу.

Куда она ушла? — соображал сонно Зимин. — Я наконец проснулся. Спал и проснулся. Вот, пальцы шевелятся. Я могу встать, если захочу. Но какая вокруг темнота! В этой комнате ведь и окон нет. Наверно, уже вечер. Или даже ночь... А что это там? Вроде бы свет? разве должен быть с той стороны?

В том же согнутом положении, наощупь он выбрался наружу — не замечая, что даже открывать дверь не понадобилось. Привыкшему к темноте зрению в самом деле мерещился — как будто вообразился — проем, обозначенный трепетным, теплым, живым светом.

Наощупь, по стенке он стал продвигаться в сторону света, по пути натываясь на неузнаваемые предметы, обходя их. Темнота иногда раздвигалась вдруг, оставляя руку без опоры, потом снова возвращалась стена. Под ногой оказалась ступенька вниз, другая, третья. Свет впереди становился все более явственным. Послышался едва слышный звук, похожий на детское всхлипывание...

Керосиновая лампа на полу высвечивала вокруг себя трепетный, тающий по краям шар. У стены, против лампы, поставлен был на неровные кирпичи пружинный матрас. На нем сидел среди одеял мальчик лет шести-семи, с пятном зеленки на стриженной голове. Он тихо, сдерживая себя, подвывал, размазывал кулачком слезы по грязным щекам.

— Ты почему здесь, один? — спросил Зимин невольным шепотом. — Почему плачешь?

— А ты к-кто? — слотнул мальчик икоту испуга.

— Я? Видишь кто: дядя, — неуверенно ответил Зимин.

— Не б-бабай? — глаза мальчика были тревожно расширены.

— Нет, я не бабай.

— Значит, камак. Я тоже не бабай.

— Кто? Какой камак? О чем ты говоришь?

— Не знаю, — сжался мальчик. — Мама предупреждала, надо сначала узнать, кто тебя спрашивает. Чтобы ответить правильно. Если спрашивает камак, скажи, что и ты камак, если бабай, скажи, что бабай. А то убить могут.

— Что за глупости ты придумываешь, — сказал успокоительно Зимин — но самому надо было еще одолеть болезненное посасывание в груди. — Здесь таких не бывает. Таких слов вообще нет.

— Раньше были, — отвел взгляд мальчик.

— Что значит раньше?

— Где мы раньше жили. Там стреляли все время. И здесь тоже. Ты слышал выстрелы?

На шее у него был свежий розовый шрам, волосы на голове успели слегка отрасти. Глаза в темных обводах казались огромными на болезненном бледном личике.

— Ну, это бродячих собак отстреливают, — объяснил Зимин. Объяснение на миг показалось ему самому убедительным — но потому и неосторожным.

— Зачем собак? — Мальчик вдруг снова заплакал, слезы потекли из его глаз. Он размазывал их кулачком, а другой рукой прижимал к животу мохнатую большую собаку. мех у нее был розовой, левой передней лапки не было. — Я раньше свою Вегу любил, не здесь.

— Да, с собаками так нельзя, — поспешно признал Зимин. Такое признание звучало относительно безобидно. — Надо будет сказать, чтобы так больше не делали.

— А мама говорит, мы теперь тоже бродячие. — Мальчик немного и впрямь успокоился. — Дома у нас все нет и нет. Хотя мама говорит, обещали. А еще мы там, в доме, оставили моего хомячка, Фиму. И еду ему оставили на два дня. Уже прошло два дня? — спросил он. — Почему мамы так долго нет?

— А куда она пошла?

— За едой.

— Так поздно?

Мальчик пожал плечами.

— А папа у тебя есть? — спросил Зимин — и опять тут же почувствовал, что так нельзя было спрашивать. Мальчик потупился, плечики его неопределенно дернулись.

— Папа на войне, — сказал он тихо.

Как же ему сказать, что этого быть не может? — мучительно подумал Зимин. — О какой он войне?

— Ты, наверно, есть хочешь, — поспешил он перевести разговор.

В углу возле окна устроено было подобие самодельного очага, не сложенного, а составленного из кирпичей, на нем стояла алюминиевая кастрюлька. Листы сухой штукатурки в верхней части стены отвалились или были оторваны, за ними чернела глубокая ниша.

Зимин подошел к окну. Оно было занавешено плотным одеялом. Отвернул край. За стеклом была непроглядная темнота — но что видно было отсюда днем? Приоткрыл крышку: там в воде лежало несколько уже очищенных картофелин. Рядом заготовлена была куча щепок, и спички лежали сверху. Остатки обоев и потолок вокруг ниши были закопчены: дым уходил, видимо, куда-то туда. В самой нише, в ее глубине он увидел верхнюю часть почерневшей, когда-то алебастровой, в дырках от гвоздей, колонны с обломанной коринфской капителью. Сухой штукатуркой ее когда-то обили, чтоб проще было клеить обои.

— Сейчас я тебе приготовлю, — сказал Зимин.

Сухие щепочки занялись сразу, весело. Запахло приятным дымком — он легко уходил в невидимую дыру за колонной.

Слабо освещенное пространство оживало, заполнялось все новыми, проступавшими из сумрака предметами. Они были нанесены сюда, в угрюмую нору, в отгороженное убежище, какие хотелось устраивать себе в детстве, чтобы обособиться, укрыться от взглядов, угроз и стихий: нехитрая утварь, остаточная, давно устаревшая мебель, старое кресло со шнуром по бархатной обивке, забытой уже конструкции раскладушка с брезентом на раздвижной крестовине, ножная швейная машинка, раскрытый патефон с изогнутой заводной ручкой. Запахи прошлых лет держались вокруг этих вещей, среди снов детского пробуждения. Над матрасом за спиной мальчика висел памятный коврик, рога двух благородных оленей золотисто светились среди темно-синего неба. Поверх одеяла разбросаны были разные мелочи, которые всегда держат под рукой лежачие больные, разрозненные листы бумаги и целый альбом для рисования.

— Ты рисовать любишь? — придумал развлечение Зимин; вода в кастрюльке должна была закипать еще долго. Подбросил впрок лишних щепок. — Что ты рисуешь? Дом, цветы, солнце?

— У меня нет цветных карандашей. Только серый.

— И серым можно много нарисовать. Давай мне твой карандаш, покажу.

Он прикрутил начинавший коптить фитиль лампы (пальцы вспомнили это давнее ощущение). Присел на край кровати, раскрыл альбом. Первая страница оказалась запачканной — угадывались следы рисунков, размазанных грязным ластиком.

Пришлось перевернуть еще одну, и другую. Лишь на последнем листе оставался рисунок. Маленькие человечки на ломаных палочках-ножках бежали куда-то вперед, в палочках-ручках у них были винтовки, другие человечки лежали на земле, убитые. Но действительно реалистично, с подробным знанием дела, изображен был громадный танк со множеством разновеликих колесиков и тщательно прорисованными гусеницами. Дуло пушки выдвинуто было далеко вперед, на башне кривоватая звезда.

А ведь совершенно мой рисунок, — всмотрелся Зимин. Танки он умел изображать всем на зависть, и человечки выглядели разнообразными, живыми.

— Это ты рисовал? — спросил он.

— Нет, это не мой альбом. Это здесь раньше было. А ты собак рисовать умеешь?

— Собак я не умею, — сказал Зимин. С каких времен здесь этот альбом? — подумал он. Нашел на обороте листа чистое место. — А хочешь, покажу, как рисуют веселого человечка? Смотри, это совсем просто. Точка, точка, два крючочка. Носик, ротик... вот, смеется же, правда?

— А я зато умею вот так, — с заготовленным торжеством продемонстрировал мальчик тайное свое оружие: кусок ластика. И быстро, ожесточенно, словно готовый сорваться на плач, стал стирать рожицу.

Огонек фитиля отблескивал в его лихорадочных глазах. Он заметно устал от прерыва своей деятельности.

— Зачем же стирать? — грустно сказал Зимин. — Рисовать лучше.

Он вовремя вспомнил про костерок — щепки едва не закончились, надо было подбавить еще. Белая пена всплывала уже на поверхность воды, но закипания еще надо было ждать. Да, и потом соли подсыпать, — напомнил себе Зимин. Где-то она должна тут быть... вот, в банке.

— А хочешь, сделаю тебе кораблик? — предложил он. — Я умею складывать с двумя трубами, как настоящий. Можно взять эти листки?

— Это моя сказка, — выхватил у него тот из рук лист. — Ты лучше мне почитай. Мама мне всегда на ночь читает.

Зимин приблизил листок к глазам. Шрифт был совсем мелкий, едва различимый. На детскую книгу не очень похоже.

— Я при таком свете не вижу. Не различаю букв, — виновато сказал он. — А какая тут сказка?

— Как мальчик встретил принцессу. Знаешь такую?

— Еще бы не знать! — улыбнулся Зимин, ощущая близость необъяснимого волнения. — Когда-то наизусть мог рассказать.

— Не рассказывай, а читай. — Мальчик, наконец, словно вспомнил про свою власть: не просить, а требовать.

— Если сумею, — сказал Зимин, сглатывая невольный комок.

Пододвинул поближе лампу.

— Текла через дуг речка, — начал читать он. Каждое слово было теперь видно отчетливо. — Река стекала по круглой земле за невидимый край. Травы и цветы были такие новенькие, что еще не имели даже названия. Над цветами, как шары, колыхались разноцветные запахи...

— Это сказка или взаправду? — В голосе мальчика звучало недоверчивое желание уточнить.

— С кем-то когда-то это, наверно, было. Давным-давно, когда я был такой, как ты. Я действительно это видел. На зеленом лугу паслись громадные, до неба, коровы. У стреноженной кобылы в большом животе лежал вверх ногами розовый жеребенок. В голубых глазах собаки отражались цветы и небо. Куст акации был увешан свистульками...

— И там был ты? — сладко зевнул тот.

— Представь себе, да. Когда был, как ты. Я на самом деле тогда знал, что есть страны еще неоткрытые. Может быть, небольшие, их просто никто не заметил. Я собирался поплыть в те края на лодке. И лодку хотел сделать сам.

— Ты мог сложить ее из бумаги.

— Да. Только нужны были, конечно, непромокаемые материалы. И покрасить надо было потом такой же непромокаемой краской.

— У меня есть пружина от настоящих часов. Можно сделать такой мотор с пружиной.

Он потер левым кулачком глаз.

— Ну вот, ты сам прекрасно все знаешь. — Сердце Зимина щемило болезненной нежностью. — Только сейчас ты уже поспать хочешь. Давай я тебя хорошенько укрою.

— Нет, мне спать так много нельзя. Мне Вадик в больнице говорил: будешь долго-долго спать — и потом уже совсем не проснешься.

— Глупости. Не надо этого слушать.

— А он сам тоже так не проснулся. Я видел, его увезли. Это было совсем не страшно.

— Нет, с тобой так не может быть. Поспишь немного, проснешься — а уже и мама пришла.

— Я без нее не могу. Она брала меня на руки.

— Так давай и я возьму.

Легкое тельце мальчика оказалось не просто теплым — горячим. Он болен, — понял Зимин. — У него жар. Надо его уносить отсюда. Только дождаться, должна же придти его мама, не может же она не придти.

— Рассказывай дальше, — потребовал тот, приподняв голову. И снова уткнулся ему подмышку.

— Там летела высоко-высоко птица, — зашагал почти на одном месте Зимин, взад-вперед. Ходить тут было и негде. — У нее были разноцветные крылья, одно красное, другое зеленое. И дом ее был в цветке, высоко-высоко. Там с одной стороны было солнце, а с другой луна...

Сопение у груди было легким и ровным. Цветущие ветви разрастались, шевелясь, в стенах комнаты, чей уют не казался в детстве убогим. Все здесь дышало теплом и тайной, даже этот вот запах половой тряпки, запах пыли и керосина.

Боже мой, — думал Зимин, — но я ведь еще надеюсь вернуться. Куда? Что считать моей жизнью? Что значит остаться самим собой? Или самим собой стать? В таком-то возрасте!.. Проснулся ли я, наконец? Так поздно, так поздно!..

Прикосновение другого тельца, другого тепла — и вот поверхность, разделявшая двоих, словно растворилась, растаяла, потеряла значение, новая жалость, новая тревога входит в тебя. Чье-то сердце бьется у твоего уха. В сильных теплых руках тебе надежно и сладко. Тихий бессловесный напев в такт шагам успокаивает. Чьи-то еще шаги и голос — пришла мама. Мягкие губы прикасаются к волосам у виска.

— Смотри, что это у него тут поблескивает?

— Где?

— Ну, вот же, на волосах... И движется.

— Бог ты мой!... Это вошка ползет. Чего ты так испугалась? Сними, если можешь. Только тихо, чтоб не разбудить.

— Какой ужас!

— Ты что, никогда не видела?

— Не помню. Давно когда-то. Господи, ну что же опять за жизнь?

— Ничего. Главное, война кончилось. А вошек надо будет потом керосином. У нас теперь даже керосин есть, ты это почувствуй. Забыла вошку, забудешь и войну.

— Если бы я могла забыть!

— Все забывается, я проверял. Не сможешь забыть — не сможешь жить. Выкинь из головы. Чтоб не сойти с ума.

— Да, это я проходила. Кого нет, того уже не будет, ничего не поделаешь. А у тех, кто остался — должно наладиться. — Главное, теперь все впереди.

— У кого?

— У него.

— Лишь бы он жил не как мы.

— Может, мы за то, что есть, скажем еще спасибо.

— Кому?

— Жизни. Я, знаешь, прочел в одной книге: надо благодарить жизнь за то, что она с нами обошлась так сурово. Прежнюю жизнь мы так бы не ощутили, не оценили.

— Нет, пусть бы он обошелся без этого. Мы-то согласны выдержать что угодно, потому что он есть. Без него я бы не знала, зачем... А что же ты картошку оставил? Вода вся выкипела. Не забыл посолить?

— Забыл, как всегда... Ладно, что ты сразу засутилась? Глянь у меня в сумке, какую я добычу принес. Коллекция старинных пластинок. Антикварная редкость. Видишь?

— Голоса птиц.

— Разных, представляешь? Соловей, зяблик, малиновка.

— Пение южных цикад.

— Ну, это южных. Это ладно. А там, посмотри, есть еще журчанье лесных ручьев. Тоже с обозначением, где, какой. С трещиной, правда, но это ничего.

— А это что? Вздохи осенних ночей.

— Осенних ночей. Ты представляешь? Да подойди-ка на минуту сюда. Еще поближе...

— Ну, ненормальный! Не сейчас же! Тише. Он ведь все понимает.

— И пусть понимает. Пусть понимает.

— Тише, тише. Давай я подержу.

— Ему нравится у меня. Пусть разоспится...

Сладкие запахи. Скрип половиц, расправляющихся после дневных нагрузок, вздох рассохшегося дерева, тихий треск отстающих от стены обоев. Можно не раскрывать глаз.

1995—1998